

18+

Людмила
Улицкая
**Лестница
Якова**
роман

НОВЫЙ
РОМАН
ЛЮДМИЛЫ
УЛИЦКОЙ



РЕДАКЦИЯ
СЛЕНА ШУБИНОЙ

Annotation

“Лестница Якова” – это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Нора – театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их “знакомство” состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу...

В основу романа легли письма из личного архива автора.

Людмила Улицкая

Лестница Якова

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© 2015, Людмила Улицкая – автор © ООО “Издательство АСТ”, 2015

* * *

*...продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,
– и не кончается строка.*

Владимир Набоков

Глава 1

Ивовый сундучок

(1975)

Младенец был прекрасен с первой минуты появления на свет – с заметной ямкой на подбородке и аккуратной головкой, как будто из рук хорошего парикмахера: короткая стрижка, точно как у матери, только волосы посветлее. И Нора его сразу же полюбила, хотя заранее не была в себе уверена. Ей было тридцать два года, и она считала, что уже научилась любить людей по заслугам, а не просто так, из-за родственной близости. Младенец оказался вполне достоин немотивированной любви – спал хорошо, не орал, сосал исправно, разглядывал с большим интересом сжатые кулачки. Дисциплину он не соблюдал: спал то два часа, то шесть без перерыва, просыпался, делал чмоки в пустой воздух – и Нора сразу прикладывала его к груди. Она тоже дисциплины не любила, так что отметила это общее свойство.

С грудью произошли сказочные изменения. Еще во время беременности она красиво вспухла и, если прежде на плоском блюде торчали одни соски, теперь, когда пришло в изобилии молоко, грудь стала очень важной птицей. Нора смотрела на нее с уважением, ощущая странную приятность этого изменения. Хотя физически это было скорее неприятно – постоянное натяжение и неудобство. В самом кормлении содержалась посторонняя, к делу не относящаяся подозрительная сладость... Прошло уже три месяца, как он появился, и он назывался уже не “младенец”, а Юрий.

Поселен он был в комнате, прежде считавшейся маминной и ставшей ничейной после окончательного переезда Амалии Александровны в Приокско-Террасный заповедник к мужу Андрею Ивановичу. За две недели до родов Нора комнату наскоро побелила и Юрий был помещен туда в белой реквизитной кровати из второго акта “Трех сестер”. Сейчас это уже не имело никакого значения, но в прошлом сезоне весь театр содрогался от скандала, связанного с закрытием этого спектакля. Нора была художник-постановщик, режиссер – Тенгиз Кузиани.

Тенгиз, когда улетал в Тбилиси, сказал, что в Москву больше не вернется. Через год позвонил Норе, сообщил, что его пригласили в Барнаул, на постановку “Бесприданницы”, и он раздумывает. В конце разговора предложил поехать с ним художником-постановщиком... Он как будто не знал, что у Норы родился ребенок. Или делал вид? Это и удивительно: неужели на этот раз закулисное радио сплеховало? Театральный мир – поганая помойка, где частная жизнь всегда выворачивалась наизнанку, публиковалась любая незначительная деталь, а уж кто кого любил – не любил, кто с кем случайно пересекался на гастрольных простынях провинциальных гостиниц и от кого какая актриска сделала аборт – мгновенно распространялось.

К Норе это отношения не имело – она не была звездой. Всего-то и было, что блестящий провал. Ну, еще родила ребенка. Молчаливый вопрос театральной общественности: от кого? Про ее роман с режиссером было всем известно. Но муж ее был не театральный, “из публики”, да и сама она – так, молодой художник, только начинающий делать карьеру. И, кажется, закончивший... По этим причинам большого внимания театральная шушера ей не уделила – ни шепота за спиной, ни переглядываний. Все это теперь не имело никакого

значения – из театра она уволилась...

Юрик с восьми часов не спал. К девяти Нора ждала медсестру Таисию – делать прививку, но шел уже одиннадцатый час, а та все не появлялась. Нора пошла в ванную стирать. Звонок услышала не сразу, выскочила, открыла дверь. Таисия с порога затрещала... Она была не просто медсестра из детской консультации, но человеком миссии: воспитывала неразумных мамочек, приобщала их к великому таинству взращивания младенцев, а попутно делилась с ними вековой женской мудростью, наставляла в семейной жизни, была экспертом по взаимоотношениям со “свекровками” и прочей родней мужа, включая и бывших жен. Веселая сплетница, болтливая переносчица, она была уверена, что все эти малыши без ее патронирования – должность так и называлась “патронажная сестра” – плохо бы выросли. Никаких фасонов взращивания, кроме своих собственных, она не признавала. Имя доктора Спока выводило Таисию из равновесия.

Из всех “мамочек” больше всего она любила таких, как Нора – одиноких, первородящих, без материнской опоры. Нора была просто идеалом: по причине послеродовой слабости она берегла силы на выживание и Таисиной науке не сопротивлялась. К тому же у Норы был опыт работы в театре, где актеры, как малые дети, вечно ссорились, завидовали, ревновали, и она научилась выслушивать любую чушь с декоративным вниманием, промолчать где нужно, кивнуть сочувственно.

Нора стояла возле Таисии, слушала ее трескотню, наблюдала, как снежинки на иголках меховой шубы превращаются в мелкие капли и скатываются вниз...

– Извини, задержалась, ты представляешь, к Сивковым захожу – знаешь Наташу Сивкову, в пятнадцатой квартире? Девочка восьмимесячная Оленька, прелесть, невеста твоему будет, – а у них скандал в разгаре. Свекровка приехала из Караганды, с претензиями, что за мужем не ухаживает, за ребенком плохо смотрит, что диатез от плохого питания. Ну, ты меня знаешь, я там все по местам расставила.

Таисия двинулась в ванную мыть руки, на ходу делая замечания:

– Сколько раз тебе говорила, мыло детское для стирки бери, порошки-то не годятся никак. Ты слушай, что говорю – я плохого не скажу...

Было начало двенадцатого. Юрик уже заснул, будить его Норе не хотелось. Предложила чаю. Таисия уселась в кухне на хозяйском месте. Ей шло сидеть во главе стола – большая голова в кудрях, подобранных зубастой заколкой в пучок, – пространство уважительно организовывалось вокруг нее, она сразу оказывалась в центре чашек и блюдец, которые подтягивались к ней как овцы к пастуху. “Композиция хорошая”, – отметила Нора автоматически...

Нора поставила на стол коробку с летящим оленем. Гости иногда приносили в дом, а Нора сладкого не любила, дареный шоколад копился “на случай”, покрываясь белым налетом.

Таисия, роняя капли с волос на стол, выбрала рукой на расстоянии, какую конфетку из дорогого набора клюнуть, и, остановив руку в воздухе, спросила неожиданно:

– Нор, а ты вообще-то замужем?

Передает мне тайны по уходу за младенцем и хочет получить мои, в обмен на детское мыло... Тенгиз научил вот так понимать диалоги, их внутреннюю канву.

– Замужем.

Лишних слов нельзя произносить, можно все испортить, диалог сам должен катиться, она сама должна спросить...

– Давно?

– Четырнадцать лет, со школы.

Пауза. Отлично все строится.

– А чего как ни приду, ты дома одна... он тебе не помогает, и в консультацию ты одна ходишь...

Нора на мгновение задумалась: сказать, что капитан дальнего плавания? Или – срок отбывает?

– Он у меня проходящий. С матерью живет. Человек особенный, очень талантливый, математик, а в жизненном отношении – как Юрик приблизительно, – сказала Нора правду. Одну десятую правды.

– Ой, – оживилась Таисия, – я аналогичный случай знаю!

Но тут чутким ухом Нора расслышала какое-то шевеление и пошла к мальчику. Он проснулся и смотрел на мать как будто с удивлением. За спиной стояла Таисия, вот на Таисию он и уставился.

– Юрочка, мы проснулись? – расплылась Таисия.

Нора вынула сына из кровати. Он повернул голову в стороны медсестры, смотрел выжидательно.

Не было у Норы пеленального столика. Был секретер с откидной крышкой, и на нем Юрик уже с трудом помещался. Да Нора его и не пеленала. Ей в пошивочном цеху сшили два комбинезона, “перепечатали” девочки-швеи с какого-то заграничного. Таисия немного поворчала по поводу капиталистических трусиков с резиновой подкладкой, в которой мокрая пеленка производила опрелость, поцеловала ребенка в попку, велела разложить чистую простыню на тахте и пошла готовить прививку...

Намешала что-то из одного-другого пузырька, набрала жидкость в шприц и легонько ткнула его иглой. Ребенок скривился, хотел было закричать, но раздумал. Посмотрел на мать, улыбнулся.

“Умница, ведь все понимает”, – восхитилась Нора.

Таисия пошла на кухню выбросить ватку и заорала на пороге:

– Вода! Нора! Вода убежала! Потоп!

Ванна переполнилась, вода растеклась по коридору и подбиралась уже к кухне. Сунули Юрика в кровать, но, видно, слишком нервно, поспешно, и он заплакал. Нора выключила кран, покидала на пол полотенца, стала собирать воду. Таисия ловко ей помогала. Тут, под вопли оставленного в кровати ребенка, зазвонил телефон.

“Соседей затопила”, – подумала Нора и побежала к телефону сказать, что воду уже собирает...

Но это были не соседи. Это был Норин отец, Генрих Яковлевич.

“Как всегда, не вовремя...” – успела подумать Нора. Юрик орал обиженно, и первый раз в жизни так громко, и эта вода, которая уже заливает соседей...

– Пап, у меня потоп, я тебе перезвоню.

– Нора, мама скончалась, – медленно и торжественно произнес он. – Сегодня ночью... дома... – и добавил уже вполне человеческим голосом:

– Быстренько, быстренько прибегай, я не знаю, что делать...

Босая Нора швырнула отжатую тряпку об пол: как всегда, не вовремя, почему ее родственники даже для смерти выбирают самое неудачное время?

Таисия мгновенно все поняла: кто?

– Бабушка.

– Сколько лет?

– За восемьдесят, я думаю. Она скрывала всю жизнь, молодилась, паспорт меняла...

Ты меня отпустишь на пару часов?

– Иди, иди. Я побуду.

Нора в очередной раз вымыла руки, что было исключительно глупо, потому что руки были мыты-перемыты, метнулась к Юрику и сунула ему грудь. Он сначала обиженно оттолкнул сосок, Нора поводила соском по губам, он заглотил его и утих.

Таисия тем временем, сняв юбку и кофту, ловко собирала воду в ведро, быстро сливала в уборную, ее розовые панталоны, белая короткая комбинация, толстые струи волос из распавшегося пучка так и мелькали в коридоре, и Нора не могла не улыбнуться ее проворству, красоте и точности движений...

– Не знаю, надолго ли... Позвоню. Она тут рядом живет, на Поварской.

– Иди, иди, я отменю два вызова. Только сядишь на всякий случай. Вдруг удержишься. Такое дело...

“Вот так, – подумала Нора. – Случайный вроде бы человек, а включилась с пол-оборота... Потрясающая баба...”

Через десять минут Нора уже неслась по бульвару, свернула у Никитских ворот и еще через десять минут жала в звонок, под которым висела маленькая медная пластинка с надписью “Осецкие”. Остальные семь фамилий были написаны на общей картонке...

Отец, с изжеванным мундштуком погасшей папиросы в углу рта, обнял ее какой-то ослабшей рукой и заплакал. Потом передумал плакать, сказал:

– Представляешь, я позвонил Нейману, сообщить, что мама умерла, а оказывается, он тоже умер! Да, врач из “Скорой” приезжала, дала справку о смерти, и теперь надо ехать еще за какой-то бумагой в поликлинику и надо решить, где хоронить. Мама говорила когда-то, что ей все равно, только не с отцом...

Все это он говорил, идя за Норой по длинному коридору. Из одной двери высунулся жирный сосед, бабушкин недруг Колокольцев, из другой кургузая Раиса, а по коридору навстречу шла тетя Катя-Первожилка. Так она сама себя называла: мать ее жила здесь прислугой с самой застройки дома, в комнате при кухне Катя и родилась, знала все про всех и по сей день писала свои безграмотные доносы на соседей, о чем соседям было известно. Впрочем, она была человеком столь простодушным, что заранее предупреждала: имейте в виду, я на вас на всех напишу!

В пыльной бабушкиной комнате пахло куревом – отец надымил – и тройным одеколоном, которым бабушка всю жизнь брызгала из пульверизатора вокруг себя. Эту процедуру она производила вместо уборки. Теперь она лежала на самодельной тахте, в белой ночной рубаше в мелких штопках на вороте, маленькая, с гордо запрокинутой головой и не вполне закрытыми глазами. Челюсть слегка опущена, рот немного приоткрыт, а на лице тень улыбки...

Горло перехватило от жалости. Нора увидела вдруг, как горько и достойно она жила. Идеологическая бедность. Голые окна. Занавески, по ее убеждениям, – атрибут мещанства. Две задекорированные, скорее, забаррикадированные двери прежде анфиладной квартиры – одна буфетом, вторая книжным шкафом. Пыли в нем было не меньше, чем книг. У Но ры с детства начиналась аллергия, когда она тут ночевала – в те годы, когда звала бабушку Марусю Мурлыкой и обожала детской страстью. Книги знакомые все до единой. Читаные,

хорошо читанные. И по сей день Нора сражает всех невежд глубиной культуры – и вся культура ее происходила из этих двух сотен книг, подобранных как на необитаемый остров, испещренных мелкими карандашными заметочками на полях. От Библии до Фрейда. Ну да, необитаемый остров. Впрочем, вполне обитаемый – здесь паслись стаи клопов. Нору они в детстве заедали, а бабушка их не замечала. Или они ее?

На двери висели остатки сюзане, сроду не знавшего ни стирки, ни чистки. Голая лампочка Ильича, которого бабушка глубоко и испуганно почитала. Да, знакома была с Крупской, с Луначарским, изучала культуру – что-то говорила про то, как устраивала театральную студию для беспризорных... Какой причудливый мир – в нем бесконфликтно уживались Карл Маркс и Зигмунд Фрейд, Станиславский и Евреинов, Андрей Белый и Николай Островский, Рахманинов и Григ, Ибсен и Чехов! Конечно, любимый Гамсун! Голодающий журналист, который уже и кожаные шнурки сжевал, красиво галлюцинирует от голода, пока не приходит ему в голову умопомрачительная мысль – а не пойти ли работать? И нанимается юнгой на корабль...

Занималась бабушка какими-то эзотерическими танцами, потом забытой и гонимой наукой педологией, в поздние годы жизни называла себя “очеркисткой”. И жила духовной жизнью... Такой же далекой от сегодняшней жизни, как юрский период... Все это на Нору разом обрушилось, когда она стояла, еще не сбросив куртки, перед окончательно ушедшей бабушкой.

Как много Нора от нее всего получила... Бабушка играла на этом пианино, а Нора под музыку “вытанцовывала настроение”... здесь, на углу стола, Нора нарисовала синюю лошадь... и как бабушка восхищалась: вспоминала “Синего всадника”, Кандинского... Они ходили в Пушкинский музей... в театры... Как же Нора страстно любила ее тогда... и как жестоко разочаровалась и холодно бросила. Бабушка ненавидела всякую буржуазность, презирала мещанство, называла себя “беспартийной большевичкой”... Они смертельно разругались восемь лет тому назад, стыдно сказать, по политическим мотивам... Какая нелепость... какой бред...

Вместе с отцом они переложили твердое тело на раздвинутый стол. Нетяжелое тело. Отец ушел на кухню курить, а Нора взяла ножницы и разрешила ветхую ночную рубашку. Она расплзлась в руках. Потом налила в тазик прохладной воды и стала обмывать тело, похожее на узкую лодку, изумляясь физическому сходству с собой: тонкие длинные ноги, ступни с высоким подъемом и выдающимися вперед большими пальцами с давно не стриженными ногтями, маленькая грудь с розовыми сосками, длинная шея и узкий подбородок. Тело было моложе лица, кожа белая, безволосая... Отец курил в огромной кухне, заставленной персональными, по числу семей, столами, время от времени подходил к висевшему в коридоре древнему телефону и оповещал родственников... До Норы доносился его трагический голос и один и тот же текст: мама скончалась сегодня ночью, о похоронах сообщу дополнительно...

Когда тело было обмыто и вытерто разорванным пододеяльником, Нора почувствовала, что теплая струя течет по животу. Она как будто очнулась – как это она забыла про Юрика, это его молоко растекается напрасно. Она хотела сесть на тахту, но заметила, что на простыне осталось пятно, последние соки и шлаки из мертвого тела. Нора сорвала простыню, скомкала и бросила в угол. Нашла себе другое место, в кресле у окна, где бабушка обычно читала всё те же книги из шкафа, потому что новых не прибавлялось, сколько себя Нора помнила. Подставила большую кружку с отбитой ручкой – знала ее с детства –

и быстро сцедила молоко, почти доверху. Вылила в таз – и помыслить невозможно нести отсюда домой эти триста граммов... Вытерла грудь своей майкой – все вещи в комнате казались зараженными смертью и ни в чем не повинная кружка тоже.

Оделась, вышла в коридор – отец в ратиновом пальто, в шапке пирожком опять курил на кухне. Он уже пришел из поликлиники, которая была недалеко, на Арбате, с нужной справкой.

– Не могу дозвониться в крематорий. Все время занято. Поеду туда, хочу, чтоб поскорее все это... – и сделал неопределенное круговое движение рукой, что обозначало: скорее закончилось. И снова стал куда-то дозваниваться.

Потом Нора набрала свой номер, Таисия тут же подошла:

– Не волнуйся, Норочка, не волнуйся. Я уже и домой позвонила, Сережка сам управится, я до самого вечера могу... Спит, спит Юрик.

Нора полезла в гардеробную – угол за буфетом, где на трех вешалках висели все бабушкины вещи. Господи, какая смиренная нищета – зимнее пальто с барашковым воротником шалькой, истертое дотла, синий костюм, перешитый из старого мужского, две блузки – каждую тряпку Нора помнила с детства. Судя по фасону, конца двадцатых годов... Нора выбрала из двух блузок ту, что была менее заношена. По этим останкам одежды можно было изучать историю костюма... На рукавах сохранился след какого-то псевдоегипетского орнамента.

Тело застыло, как застывает гипс, блузку пришлось разрезать на спине. Разложила рядом с телом.

“Надо будет аккуратно перекладывать в гроб, – подумала Нора. – Но одену сейчас, чтоб не лежала голой”.

Вдруг почувствовала, что в комнате очень холодно. Захотелось одеть ее потеплее – сняла с вешалки жакетку. Юбку разрезать не пришлось, натянула через ноги. Бабушка была дитя Серебряного века, его продукт и жертва. Два смутных от пыли портрета юной красотки висели над пианино. Хороша. Очень хороша...

Нора достала из загнанного под тахту чемодана старые туфли – архаика, музейная вещь: шлейка на кожаной пуговке, каблук рюмочкой. В них бабушка ходила во времена НЭПа... На негнущуюся ногу надеть не смогла.

Все делала Нора так, как будто всю жизнь только этим и занималась. На самом деле – первый раз. Как умирала другая бабушка, Зинаида, Нора не помнила, ей было тогда лет шесть. А дедов своих она практически не знала... Женская семья. Один мужчина был – Генрих. Долго ли жил он с ними, на Никитском? Амалия с ним развелась, когда Норе было лет тринадцать...

С Марусей поправить ничего нельзя. Опоздала помириться, а теперь обмывает, одевает... и давнее чувство раздражения против всего мироустройства, против этого жуткого футляра когда-то горячо любимого человека поднялось со дна... Саркофаг. Каждое мертвое тело – саркофаг... Можно было бы поставить такой спектакль – все живые герои в саркофагах, а умирая – из них выходят... В том смысле, что все живое уже мертвое... Надо это Тенгизу сказать...

Молоко опять стало прибывать. На майке проступило темное пятно. Какой плен физиологии – конечно, Маруся ей первая об этом и сказала. Биологическая трагедия женщины... Бедный и робкий борец за женское достоинство, за справедливость. Ре-во-люцио-нЭр-ка! Как она испугалась, когда Нору выгнали из школы! От дома отказала!

Торжественно и высокопарно! Помирились. Но года через три разругались по-настоящему – советская власть черной кошкой пробежала между ними, на этом закончилось и доверие, и близость... А потом еще Чехословакия... Сейчас только улыбку это вызывало. Какая глупость...

Нора глянула в окно. Стекло грязное, годами не мытое. Видно было, что серый снег за окном сменился серым дождем. Почему же я ничего для нее не делала? Какая глупость была обижаться на старуху... Я черствая сволочь...

Но ведь любила-то ее больше всех на свете! Неслась почти каждый день после школы по привычной дороге мимо кинотеатра повторного фильма, переходила дорогу у Никитских ворот, потом мимо магазина “Консервы”, в паутину переулков – Мерзляковский, Скатертный, Хлебный, Скарятинский – выныривала на Поварскую, к бабушкиному дому. И сердце от счастья замирало, когда бегом поднималась по лестнице на третий этаж и утыкалась носом в Марусю...

Но какая же белая кожа... Глаза подглядывали из-под век, смотрели на нее, казалось, безразлично. Разрезала со спины блузку, половину надела с правой руки, половину с левой, приподняла тяжелую голову, чтобы соединить сзади разрезанный воротничок. За последние двадцать лет Маруся, кажется, не внесла в дом ни единой новой вещи. От бедности? От упрямства? Из какого-то непостижимого принципа?

В дверь робко постучали – это был отец, боялся увидеть свою мать обнаженной. Вошел с деловито-радостным лицом, с пальто в руках:

– Норка, я заказал гроб. Привезут завтра утром, к десяти. Даже справку не спросили! Только спросили, какого роста покойник. Я сказал, метр шестьдесят.

– Метр пятьдесят восемь, – уточнила Нора. – И не зови меня так. Нора меня называли. Твоя мать назвала меня Норой. Ибсена читал?

Выглянувшее на мгновение солнце осветило на минуту комнату, бабушку, сверкнуло в перламутровой пуговке под воротничком и снова ушло в серую морось.

Нора подоткнула под бок разрезанный надвое жакет с круглой латунной брошкой на отвороте. В нем Маруся ходила на собрание в какой-то профком – журналистов или драматургов...

– Останешься здесь на ночь? – спросила Нора отца.

– Нет, мне домой надо, – испугался он. И заторопился. – Но я завтра к девяти здесь буду. Ты придешь, доченька? – спросил он не очень уверенно. – Мне еще в крематорий... Хорошо бы завтра успеть.

– Да можно и послезавтра...

– Хотелось бы поскорее. Попробую. Я позвоню тебе вечером.

Генрих Яковлевич проявлял чудеса проворства.

– Я в девять здесь буду, – кивнула Нора сухо. Она чувствовала, что невозможно оставлять покойницу одну. Но невозможно было и ночевать здесь с Юриком.

Нора вышла в коридор, свернула два раза по знакомому с детства коленцу коридора. На кухне Катя-Первожилка стояла к ней спиной и что-то резала на столе, сильно ворочая локтями.

– Теть Кать, поговорить надо...

Катя развернулась всем туловом – шея у нее отсутствовала, голова крепко сидела прямо на плечах:

– Чего тебе, Нюра? – прелестная эта идиотка всю жизнь ее так звала.

- Переночуешь у Маруси в комнате?
- Тебе надо, ты и ночуй. На что оно мне надо?
- У меня ребенок маленький, куда я с ним?
- Родила, что ли?
- Да.

– И Нинка моя родила! А Генька чего ж не поночует?

– Домой спешит. Я тебе денег заплачу.

– Нюра, я тогда и буфет возьму. Он мне нравится.

– Хорошо, – согласилась Нора. – Возьми. Только к тебе не влезет.

– Так я же и комнату возьму. Вселюсь, и кто мне что скажет? Нинка-то живет у мужа, а прописана здесь!

– Да, да, – безразлично кивнула Нора и представила, как будет Катя шарить по комнате в поисках поживы.

– Десять рублей, Нюра! Меньше не могу, – зажмурилась от собственной наглости Катя.

– Десять – это за ночь и за уборку! – уточнила Нора.

На том и порешили.

На другой день с Юриком вызвалась посидеть Таисия, так что Норе и не пришлось голову ломать – кого позвать. Подруг, которых можно было позвать, было две – Наташа Власова и Марина Чипковская по прозвищу Чипа, со времен театрального училища. Обе были надежные, но у Наташи был пятилетний мальчик, а Чипа работала как безумная на трех работах, содержала мать-инвалида и младшую сестру...

В комнате у бабушки Нора застала несколько человек – отец, его помощник Валера Безбородко, Катя с дочкой Нинкой, соседка Раиса и еще одна тетка из домоуправления в рыжем кривом парике. Женщины были заняты тихой, но оживленной беседой – решались материальные вопросы, догадалась Нора.

– Жалко-то как Марусеньку, – закачала мелко головой Раиса. – Ведь пятьдесят лет без малого прожили вот так, через стенку. Я ей во всю жизнь плохого слова не сказала... Я хотела на память...

– Раиса, что вы там хотели? – неожиданно резко перебил ее Генрих.

– Нет, Геня, я только говорю, почти что пятьдесят лет, можно сказать, душа в душу... – и попятилась к двери.

“Вот воронье слетелось...” – и Нора их всех быстро, но решительно выставила. Отец посмотрел на нее с благодарностью: он жил в этой квартире с детства, помнил этих старух молодыми бабами, но так и не научился с ними разговаривать – все неровно у него получалось, то свысока как будто, то искательно. И Нора знала, что он не умеет общаться с людьми на равных, всегда эта лестница – выше, ниже... “Бедняга”, – пожалела отца, даже ощутила теплоту. И он понял, руку положил ей на плечо. Неуверенно. Он с раннего Нориного детства считал, что уже тем, что она его дочь, он выше стоит, разговаривал с ней начальственно, а потом она выросла, расставила все по местам... Ей было лет восемнадцать, когда она пришла к нему в его новый дом, в новую семью, и он, уединившись, стал ей пенять, что редко приходит и что это, несомненно, влияние ее матери, которая не хочет, чтоб они общались. Нора обрезала его: “Па, неужели ты не понимаешь, если бы мама не хотела, я бы и не ходила... ей просто все равно...”

И он с тех пор не предъявлял никаких претензий...

В десять привезли гроб. Два гробовщика ловким приемом поставили гроб на стол,

сдвинув покойницу, молниеносно, даже артистически, подняли ее, и тело с деревянным стуком сразу легло куда надо. Отец вышел с гробовщиками, оставив Нору одну. Он расплачивался с ними в коридоре, под дверью, и Нора слышала, как они его благодарили. Отец явно им дал больше, чем те рассчитывали получить.

Нора подоткнула раздвинувшиеся надрезанные вещи, расчесала седые редкие волосы на пробор, как бабушка носила, убрала выбившиеся пряди назад и залюбовалась ее немного покатым высоким лбом и длинными веками. Была в бабке некоторая интегральная линия, она просматривалась в очерке скул, на переходе шеи к плечу, от колена к пальцам... Норе даже захотелось немедленно взять в руки карандаш... За ночь покойница как будто похорошела. Красивым лицо ее не было – оно было прекрасным, узким, и лишняя старческая кожа, которая при жизни висела под подбородком, подобралась, она помолодела. Жаль, что в нее лицом не вышла...

– Нора, соседи говорят, надо стол накрыть, это... поминки... – отец смотрел на нее с ожиданием.

Нора подумала минуту – бабушка всю жизнь терпеть не могла, когда соседки заходили к ней в комнату. Но теперь было все равно.

– Скажи Катьке, чтоб на стол собрала и дай денег. А накроет пусть на кухне. Только пусть водки много не покупает, а то обопьется. У нас без поминок никак нельзя...

Отец согласился:

– До войны столов было меньше, всегда на кухне накрывали. Много стариков тогда в квартире жило. Все умерли. Но я на поминки не ходил, и мама не ходила. Как ни странно, ходил на эти поминки мой отец...

Чуть ли не первый раз в жизни Генрих упомянул отца... Нора отметила это, удивилась: в самом деле, о Якове Осецком ей никогда ничего не говорили. Что-то смутное, из детства... Хотя она его помнила – однажды он был у них на Никитском, какие-то отдельные черты – усы щеточкой, длинные большие уши да еще рукодельный, из цельного дерева, костыль с изгибом ствола, превращенным в рукоять. Больше она его никогда не видела.

Отец пошел отыскивать только что изгнанную Катю. Она обрадовалась и предложению, и деньгам, сказала, что купит все в Высотке. Отец кивнул. Ему было все равно, а Кате большое развлечение. Почти одновременно Нора и Катя вышли из дому, одна на Арбат в цветочный магазин, другая в сторону площади Восстания. Катя была в большом возбуждении, денег было – полторы ее пенсии, и она прикидывала, как бы по-умному закупиться, чтобы немного скроить...

В цветочном магазине на Арбате Нору ждало чудо – впервые в жизни она увидела такие роскошные гиацинты, целое ведро. Она купила все – и сиренево-голубые, и белые, и несколько розово-лиловых. Выложила всю свою наличность. Цветы ей сначала завернули во много газетных слоев, а потом еще дали впридачу и ведро. Так и шла она с деревенским ведром сначала по отрезку Трубниковского переулка, оказавшегося по старо-арбатскую сторону новой магистрали, потом пересекла Новый Арбат, и снова оказалась в Трубниковском, в его более длинном отрезке. Накрапывал дождь или снег, не разбери что, свет был серо-перламутровый, ведро тяжелое, сапоги промокли, уже начинало прибывать молоко, но свернутые пеленки были уложены в лифчик, а поверх этой снасти она еще была обвязана старым платком – это рано утром прибежавшая Таисия скандальным голосом объявила ей, что если платок не повяжет, то на похороны она ее не пустит. Нора засмеялась и обвязалась.

Пришла она одновременно с катафалком. Поднялась первой, до похоронной obsługi. В комнате стояло несколько унылых фигур дальних родственников, подходили смутно знакомые люди, целовали Нору и Генриха, что-то говорили казенное, с разной степенью теплоты. Одна маленькая старушка в белом шарфике и в беретке тихо рыдала, ей наливали в углу валериановые капли в бабушкину “капельную рюмку” для успокоения. Незнакомая старушка.

Нора бросила гиацинты в гроб, они не нуждались в том, чтобы их особо раскладывали. Было волшебство уже в том, как эти цветы все вокруг преобразили – бедность обернулась роскошью, как в сказке про Золушку. Нора, опытный, казалось бы, человек, театральный художник, вся профессия которого только в том и заключается, чтобы техническими способами преобразовать искусственное пространство сцены, от восхищения замерла. Это как волшебный фонарь, который давным-давно использовали в постановке “Синей птицы” во МХАТе, в сцене, когда Тильтиль и Митиль приходят в страну мертвых, к бабушке и дедушке. Да, конечно, именно Маруся и водила ее, пятилетнюю, на этот спектакль... Ей показалось, что в узкой полоске между неплотно закрытыми веками мелькнуло одобрение. Гиацинты обладали какой-то невероятной силой – они заполнили мощным ароматом комнату, перебив и запах тройного одеколона, и запах пыли, и валерьянку. И Нора даже подумала, что вся эта комната, прикоснись к ней волшебной палочкой, станет дворцом, а бедная бабушка с большими амбициями – тем, кем она всю жизнь хотела стать и не стала...

Потом четверо мужчин подняли гроб и вынесли его на улицу. В катафалк село с десятков родственников, а отец покатыл на своем “Москвиче” следом.

До Донского крематория ехали недолго, прибыли раньше времени и еще полчаса топтались, ожидая очереди. Потом погрузили гроб на какую-то вокзальную тележку и впустили Нору с Генрихом прежде других. Нора опять занялась цветами. Ей показалось, что со времени покупки гиацинты распушились и раскрылись полностью. Теперь она разложила их не в хаотическом беспорядке, а осмысленно, с идеей: розовые поближе к пожелтевшему лицу, а лиловые сплошным рядом вокруг головы, вдоль рук. А все те неприличные гвоздики, что внесут сейчас родственники, Нора решила бросить в ноги.

Потом вошли провожающие, все сплошь в черных тяжких пальто с красными гвоздиками, и обложили гроб родственной подковой. Все слегка мерцало, но видно было отчетливо. В этой отчетливости она вдруг осознала, что все родственники делятся на две разные породы: двоюродные братья отца, слегка похожие на ежей растущими вперед со лба жесткими волосами, длинными носами с рыльцем на конце и коротковатыми подбородками, и бабушкины племянницы – узколицы, глазастые, с треугольными, рыбы ми ртами...

“И я из этой ежиной породы”, – подумала Нора и почувствовала какую-то горячую дурноту. Тут заиграл Марш Фунебр Шопена и разрушил это странное видение – марш этот давно превратился в звуковую непристойность. Только для комической сцены годится...

– Подержи шапку, – шепнул стоявший рядом Генрих, сунул ей в руки свой каракулевый “пирожок” и полез в портфель – проверить, не забыл ли дома свой паспорт... Нора мгновенно уловила хранившийся в шапке запах его волос, с детства ей неприятный. Да и ее собственные волосы, если не мыть каждый день, тоже отдавали этой сложной смесью грубого жира и какого-то противного растения...

Административная женщина в костюме прочла по бумажке какую-то официальную ахиною. Потом отец сказал что-то не менее бесцветное, а Нора затосковала от свершающейся пошлости и бездарности. Неожиданно скучную унылость разрушила та

крошечная старушка, которая рыдала в комнате. Она подошла к изголовью и неожиданно ясным голосом произнесла настоящую речь, начав ее, впрочем, с казенного оборота – “Сегодня мы прощаемся с Марусей...”. Но продолжение ее речи было неожиданным и страстным...

– Мы все, кто здесь стоит, и множество тех, кто уже в могилах, в земле – испытали потрясение, большое потрясение, когда появилась Маруся в их жизни. Я не знаю никого, кто просто так был с ней знаком. Она всех переворачивала с ног на голову, с головы на ноги. Она была такая талантливая, такая яркая, даже своевольная, как никто. Можете мне поверить. Люди от ее присутствия начинали удивляться, начинали думать своей головой. Вы думаете, Яков Осецкий был такой гений сам по себе? Нет, он был такой гений, потому что с девятнадцати лет у них была такая любовь, про которую только пишут в романах...

В темной кучке родственников пошел шепоток, старушонка это заметила:

– Сима, а ты помолчи! Я наперед знаю, что ты там говоришь! Да, я его любила! Да, я с ним рядом была последний год его жизни, и это было мое счастье, но не его счастье. Потому что она его оставила, и не надо вам знать, зачем она это сделала. Я и сама не понимаю, как это она могла... Но я у ее гроба перед всеми хочу сказать – я перед ней не виновата, я никогда не сделала бы даже одного шага в сторону Осецкого, он был бог, а Маруся была богиня. А что я была? Фельдшер я была! Я не виновата перед Марусей, а вот виновата ли Маруся перед Яковым...

Тут Генрих подхватил старушку и пыл ее сразу стих, она слегка поотбивалась сушеными ручками, а потом, сгорбившись, быстрым шагом пошла прочь из зала.

Все смялось, подскочила административная тетка, снова заиграла невыносимая музыка, и гроб поехал вниз, вниз, где его поглотил огонь неугасимый, и серный дождь, и геенна огненная... Однако черви вряд ли там выживут... Надо спросить отца, что это за старушка, что за история...

К тому времени, как вся эта тягостная процедура закончилась, Нора совершенно забыла о поминках. Напомнил отец – “Поехали?”

Родственники дисциплинированно сели в автобус. Нора – в отцовский “Москвич”. По дороге он спросил Нору, не отводя глаз от дороги:

– Что же, твоя мать не сочла нужным приехать попрощаться?

– Она болеет, – легко соврала Нора. На самом деле, Нора ей и не позвонила. Успеет узнать. Маруся после развода Генриха встречаться с Амалией перестала...

Дверь в квартиру была распахнута, из коридора бил блинный дух. Открыта была и дверь в бабушкину комнату – запах тройного одеколona и вымытого пола смешивался здесь с запахом кухонным. Окно в комнате тоже было распахнуто, и от сквозняка колебалась белая наволочка, накинутая на зеркало.... Нора вошла туда, сняла куртку, бросила в кресло. Села на куртку, стянула шерстяную шапку, огляделась – даже вековечная пыль с крышки пианино была вытерта. На этом инструменте бабушка учила ее играть, когда ей было лет пять. Две подушки подкладывала на табурет. Но тогда Норе гораздо больше хотелось играть с табуретом – она его клала на бок, садилась на единственную ногу и пыталась крутить сидение как руль. Нора потрогала табурет – когда-то лакированный, давно уже облезший... “Может, взять пианино для Юрика?” – подумала она, но тут же и отказалась от этой мысли: грузчики, настройщик, передвижение мебели... нет, нет...

Потом в комнату вошел весь автобус, в том порядке, как сидели, парами: отцовы двоюродные братья-ежи, четверо, разделись и положили свои черные пальто на тахту. Потом

женская команда, рыбеёй породы, косячком просочилась в открытую дверь. Они все были в шубках – три бабушкины племянницы с двумя молодыми дочками, Нориными троюродными сестрами, у всех подбородочки книзу заостренные, прелесть. И еще пара неизвестных дам. Сестричек этих Нора встречала в детстве на праздниках, которые бабушка устраивала для нескольких родственных детей. Но все они были младшими и потому Норе скучны. Нора младших людей не любила, всегда предпочитала старших. Из женской команды одна заметно выделялась – рослая Микаэла, чернявая, с усиками, годов около шестидесяти. Нора пыталась вспомнить, чья она дочь или жена, но забыла, забыла... Она вообще всю эту родню видела раз в десять лет, на каких-то семейных событиях – последний раз отец всех собрал в честь защиты докторской диссертации... Люша, Нюся и Верочка звали двоюродных теток, дочек – Надя и Люба... И эта непарная Микаэла...

Женщины топтались на половике перед Марусиной дверью, сбивали налипший на обувь грязный снег. Свалили шубы на тахту. Тут Нора заметила, что с ее подошв натекла лужа на чистый пол...

Вереницей все пошли на кухню, куда приглашали соседки. Нелепость происходящего ни от кого не укрылась: в середине коммунальной кухни стояли два покрытых газетами стола, в центре возвышалась стопка блинов, а остатки дожаривала на трех сковородках Галия, старая актриса, бывшая бабушкина задушевная подруга, с которой они последние лет двадцать не разговаривали. Катя переливала из кастрюли в умывальный бабушкин кувшин в мелких трещинках теплый кисель, в умывальном тазике от разлученной пары вздымался экономичный винегрет, который Катя собственноручно накрошила из привезенных сестрой бесплатных овощей. Кроме водки, никаких напитков не было.

На бабушкином крохотном столе – она никогда не готовила, предпочитая общепит или сухомятку – уже стояла рюмка с водкой, накрытая куском черного хлеба. Нора испытала прилив острого раздражения: все было фарсом, бредом. Бабушка в жизни не сделала и глотка водки, для нее и винопитие было на грани разврата... Опять какая-то нелепость получилась: Нора чувствовала себя ответственной за происходящее. Ну что стоило сказать определенно – “Нет, никаких вам поминок не будет!”. Но режиссура оказалась в руках соседей, теперь надо было дотянуть до конца эту коммунальную тризну.

Соседка Катя чувствовала себя хозяйкой на этом празднике жизни, родственники – приглашенными на ее торжество, Генрих благодушествовал – все неприятности позади. Водку разлили и выпили не чокаясь. Пусть земля будет пухом...

Голодный Генрих набросился на еду, и Нора испытала к отцу привычное раздражение, которое как будто развеялось, пока он бегал по похоронным делам. Он энергично жевал, а Нора, с детства евшая мало и очень медленно, вспомнила, как в те годы, когда отец жил в семье, с раздражением наблюдала, как он жадно ест.

“Как же я к нему беспощадна, – подумала Нора. – У него просто аппетит хороший”.

Она выковырнула из винегрета кусочек свеклы. Свекла была вкусная. Но вообще еда в рот не лезла. Да и грудь болела – пора было сцеживаться...

Старый Колокольцев сидел на маленьком табурете, задница в тренировочных штанах свисала с сиденья. Раиса привела дочку Лорочку, старую деву с интеллигентным лицом, неизвестно откуда взявшимся. Катина Нинка тоже заняла свое место, с Нинкой у Маруси были когда-то хорошие отношения. Маруся, считая себя большим специалистом по воспитанию детей, занималась с ней все пять лет, что та ходила в школу. В раннем детстве Нинка донашивала Норины одежды. Но годам к восьми она переросла Нору, хотя была на два

года младше. Потом плохие девчонки научили ее воровать, все пошло наперекосяк, и Маруся очень горевала, когда Нинку упекли в детскую колонию. Маруся считала, что у Нинки хорошие задатки...

Нинка с хорошими задатками сидела на табуретке, уложив толстые сиськи на стол. Ей хотелось с Норой поговорить про детей – кого родила, как рожала, кормит ли. Она тоже недавно родила, молока у нее почти не было, кормила смесями, ребенок орал не переставая...

Так получилось, что родственники все сели по одну сторону стола, а соседи по другую. Стенка на стенку. И Нора уже видела спектакль, который можно было бы на этом месте разыграть. Вот в этих самых декорациях. С интересным социальным подтекстом. Как они вдруг начинают вспоминать покойную, и оказывается... выплывает... А что оказывается и выплывает, Нора додумать не успела, потому что за плечо ее потянула та женщина из домоуправления в кривом парике, что заходила накануне вместе с соседями: Нора, на минутку. Поговорить. В коридоре.

Там уже стоял отец. Домоуправская женщина сказала, что комната отходит государству, завтра ее опечатают, а что надо взять, пусть сегодня забирают. Отец промолчал, Нора тоже.

– Пойдемте, посмотрим, – предложила тетка.

Вошли к комнату. Окно уже прикрыли, но было холодно, зеркало светило наволочкой как бельмом. Верхняя лампочка перегорела, от настольной шел жиденький свет.

– Я сейчас новую вкручу, – сказал отец, который всегда это делал. И полез за лампочкой. Он знал, где что лежит. Вкрутил лампочку, она была сильная, резкая. Абажура у бабушки не было – без мещанства.

“Театральная среда”, – опять подумала Нора.

Отец взял с пианино шарообразные часы размером с большое яблоко, память от деда-часовщика.

– Больше мне ничего не нужно, – сказал он. – Нора, бери что хочешь.

Нора огляделась. Она взяла бы все. Хотя кроме книг, ничего нужного для жизни здесь не было. Очень жестко. Очень.

– А завтра нельзя решить? Разобрать нужно бы, – заколебалась она.

– А завтра участковый придет опечатывать, не знаю, утром, днем. Я вам советую сегодня закончить с этим делом, – и она деликатно удалилась, оставив Нору с печальной мыслью, что эта тетка с соседками состоит в преступном сговоре, цена которому две копейки, а цель – чтоб Нора с Генрихом ушли поскорее, а уж потом они тут все сами отшмонают.

Генрих тоскливо оглядывал комнату – место своего первого жилья. Киевскую квартиру деда, где он родился, он почти не помнил, а эта длинная комната с двумя окнами была тем домом, где жили они когда-то втроем, с матерью и отцом, до его четырнадцати лет, пока отца не арестовали в тридцать первом году.

Ничего, ничего из этого бедного имущества Генриху не было нужно. Да и что б сказала Иришка, его теперешняя жена, приволоки он в дом этот хлам.

– Нет, нет, Нора, мне ничего не нужно, – и потопал на кухню, догуливать поминки.

Нора прикрыла дверь. Даже защелкнула медную маленькую щеколду. Села в бабушкино кресло и последний раз обвела глазами дом, который был еще жив, хотя хозяйка уже умерла. На стенах висело несколько маленьких картинок, размером чуть больше открыток. Нора их наизусть знала. Фотография бабушкиного брата Михаила, фотография Качалова с автографом, фотография – самая маленькая – мужчины во френче, с подписью, цепляющей

щеку – “Марии”. Непонятно, кто... Почему-то никогда не спрашивала у бабушки, кто этот господин. Спросить у Генриха. Нора посмотрела на часы – пора было домой. Бедная Таисия весь свой выходной у нее провела...

Под окном стоял сундучок, сплетенный из ивовых прутьев. Нюра откинула крышку – полон старыми тетрадками, блокнотами, стопками исписанной бумаги. Открыла верхнюю – не то рукопись, не то дневник... Пачка открыток, вырезки из газет.

Вот и все – возьму книги и сундучок. Но, оглядевшись, сунула в сундучок фотографии со стен, узкую серебряную рюмку, в которой бабушка держала шпильки для волос, вторую – лекарственную, и одинокое фаянсовое блюдечко без чашки, которую Нора разбила собственноручно когда-то в детстве. Потом достала из буфета маленькую сахарницу и щипчики для колки кускового сахара – у бабушки был диабет, она обожала сладкое и откусывала этими щипчиками время от времени крошечный, со спичечную головку, осколок сахара. Вспомнила про умывальный кувшин с тазиком, но они уже начали новую жизнь на старой кухне – в качестве общественной посуды. Пропади все пропадом.

Через час, когда родственники расползлись, вдвоем с отцом Нора снесла сундучок и книги в машину. Сундучок влез в багажник, а книги горой завалили все заднее сиденье, загородив стекло. Отец довез Нору до дома и помог втащить всю эту рухлядь в квартиру. Внутрь не вошел, остановился у дверей, да Нора его и не приглашала. Он был здесь месяца два тому назад, на смотринах внука... Когда-то здесь, в трех небольших комнатах, жила семья из четырех человек – он с женой и дочкой и теща. А теперь – двое...

“Хорошая, удобная квартира. Хорошо, что теперь не уплотняют”, – подумал он. И промелькнуло где-то рядом – жаль все же, что мамина комната государству отошла...

И поехал в свой новый дом, в Тимирязевку, к Иришке.

Таисия быстренько собралась, чмокнула Нору в щеку, перешагнула через гору рассыпающихся книг, выходя из квартиры, встрепенулась: “Да, звонила тебе какая-то Туся, Витя два раза и армянин, имени не запомнила...”

И убежала.

Наконец, все закончено...

На кухонном столе сверкали три чисто вымытых бутылочки – шестьсот граммов усосал малыш. Нора заглянула в его комнату – он спал, перевернувшись на живот и подогнув ножки. Личика видно не было – только круглая щека и приросшая мочка уха. Не стянув шапку, Нора вытащила лист бумаги и карандаш – несколько движений, рисунок сразу получился. Хороший рисунок. Много лет Нора так и жила: увидит глаз какую-нибудь малую радость – сразу ее тащит на бумагу. А потом копится, копится – и выбрасывает. Но как будто память требует для фиксации любого момента этого ручного движения.

Двигала карандашом бездумно, механически...

Потом оглядела кучу книг у порога и поняла, что спать сегодня не ляжет, пока всего не разберет. Больше всего мешал запах пыли. Намочила тряпку, отжала и стала протирать книги одну за одной, даже не глядя ни на корешки, ни на обложки. Она их узнавала с одного касания – знакомые. Заполнила пробелы в двух больших шкафах, потом начала строить стопки в проходной комнате, где была у нее мастерская. В четыре часа закончила с книгами, теперь оставался сундук. Но сил больше не было. Она присела на венский скрипучий стул, передохнуть. Тут Юрик заворочался, она сняла с себя пропыленную одежду, встала под душ, и пока он кряхтел, недоумевая, почему не поступает питание, обтерлась и побежала голая, с двумя переполненными молоком грудями к сыну. Он улыбнулся светлыми глазами и открыл

рот. Пока он ел, она задремала, а когда он заснул, проснулась. Надела пижаму и рухнула на тахту в соседней комнате.

Заснула намертво, как камень, проснулась – как от ожога. Огляделась – по ней ползли дорожкой клопы, оставляя за собой отметины укусов. Потрясла головой, посмотрела на часы – начало восьмого. Двух часов не проспала. Вскочила, дошла до двери и поняла – клопы отогрелись и пошли из щелей между прутьями на промысел. Нора откинула крышку – сундук был полон бумагами, там были гнезда многих поколений насекомых, и она почувствовала характерный клопный запах. Вот наследство досталось! Мерзость какая...

Она потянула сундук за одну из двух сохранившихся боковых ручек. Балкон был в Юриковой комнате, она протащила сундук мимо белой прутьяной кровати, открыла балконную дверь и, впусив тугую струю холодного воздуха, вытолкнула его на улицу. Пусть перемерзнут враги народа! Заперла балконную дверь.

Юрик проснулся, блаженно улыбался и потягивался. На детском одеяльце сидел в задумчивости иссохший от недоедания клоп. Нора с омерзением стряхнула его на пол, сразу же подобрала и выбросила на балкон. Малыш улыбнулся – он уже начинал играть и взмахи материнских рук понял как приглашение к игре и тоже замахал кулачками.

Нора промазала керосином всю дорогу от двери к балкону, перетряхнула свое белье и стала ждать, появится ли новое пополнение. Но клопы, как выяснилось позже, все нашли свою смерть на балконе. Да Нора и забыла на время и о сундуке, и о клопах.

На другой день ударили поздние морозы, потом полились проливные дожди. В мае Нора переехала на съемную дачу в Тишково и прожила там почти безвыездно больше трех месяцев. Когда вернулась и стала вычищать пропылившуюся за лето квартиру, увидела на балконе забытый сундук. Прутья слегка разбухли и, отмытый дождями, он выглядел даже лучше, чем сразу после эвакуации. Она открыла крышку и обнаружила сплошное месиво из раскисшей бумаги с расплывшимися следами чернил. Карандашные записи вообще размылись.

“Ну и хорошо, – подумала она, – не придется окунаться в это раскисшее прошлое”. Она принесла из кухни помойное ведро и стала перекладывать в него дурно пахнущую бумажную массу. Вынесла на помойку четыре ведра, а на дне сундучка обнаружила тщательно упакованный в розовую аптечную клеенку сверток. Развернула – там были аккуратно перевязанные тесемочками пачки писем. Она вытащила верхнее письмо – на конверте стоял адрес – “Киев, Мариинско-Благовещенская улица, 22” и почтовый штемпель “16 марта 1911 года”. Адресовано оно было Марии Кернс. Отправитель – Яков Осецкий, Киев, Кузнечная, 23. Эта была огромная переписка, тщательно разобранный по годам. Интересно. Очень интересно. Несколько записных книжек, заполненных старомодным мелким почерком. Она тщательно просмотрела пачки – не хотелось бы снова подвергать дом клопиной заразе. Все было чисто. Она положила сверток вместе с клеенкой в свой театральный архив, который к тому времени уже существовал. И забыла на много лет.

Лежащие во тьме бумаги созревали долгие годы – до тех пор, пока не умерли все люди, которые могли бы ответить на вопросы, возникшие при чтении старых писем...

Глава 2

Часовая мастерская на Мариинско-Благовещенской (1905–1907)

Мария родилась в Киеве, куда прибыл ее отец Пинхас Кернс в 1873 году, почти за двадцать лет до ее рождения, из маленького городка Ла Шо-де-Фон в западной Швейцарии. Отец был часовщиком в третьем поколении и намеревался открыть собственную фирму наподобие небольших швейцарских, которые в ту пору начинали свое победное шествие по миру. Пинхас был в дружеских отношениях с владельцем часовой мастерской Луи Брандтом, будущим основателем фирмы “Омега”, именно он и навел его на эту идею. Пинхас был первоклассным сборщиком и, при его трудолюбии и добросовестности, мог бы наладить сборку часов из швейцарских деталей в Киеве и стать сборщиком богатой жатвы в звонкой монете на новом месте. Луи Брандт даже отчасти финансировал это начинание.

Свою почетную миссию представителя западного капитализма Пинхас постепенно провалил, хотя к новому месту прирос, женился на местной еврейской девушке, завел трех сыновей и дочь Марию. Выучил со временем оба новых славянских языка. Их парность была для него привычна, поскольку в родном его Ла Шо-де-Фон, наряду с французским, почти равноправно существовал и немецкий, и это привычное двуязычие дополнялось еще двумя еврейскими – домашним языком идиш и приличествующим еврею “высоким” ивритом.

Швейцарские деньги, вложенные в переезд и обустройство, не совсем пошли прахом, потому что, быстро убедившись, что торговое дело у него идет значительно хуже, чем ремесленное, Кернс открыл мастерскую по починке всяческих, чаще совсем беспородных произведений местных мастеров на Мариинско-Благовещенской улице. Он высоко ценил свое ремесло и с презрением относился к коммерции, считая ее разновидностью жульничества. Хотя “Капитал” Маркса к этому времени был уже написан и еще не вошедший в полную силу мировой гений упоминал в этой перспективной книге родной город Пинхаса Ла Шо-де-Фон самым лестным образом, рассматривая его как образец капиталистической специализации производства, часовщик никогда не прочитал этой библии коммунизма. Всю свою жизнь он оставался ремесленником и не дорос не только до коммунистического мышления, но даже и до капиталистического... Зато дети его рано освоили передовые идеи человечества и, любя своего доброго, веселого и всесторонне положительного отца, постоянно подтрунивали над его архаическими привычками, французским акцентом и старомодными швейцарскими сюртуками, которые он донашивал чуть ли не сорок лет.

Все дети Кернс чирикали по-французски, и это обстоятельство превращало их в странных птиц – единоплеменники говорили на другом наречии. Потомки часовщика, хотя и прекрасно владели языком матери, любили перекинуться между собой на аристократическом французском, который совсем уж не был в ходу на их улице. Образование они получали домашнее, причем учитель для старших двух мальчиков, Марка и Иосифа, был нанят во времена относительного благополучия семьи, а младшего брата после разорения обучали старшие. Михаил, подростки, занимался с сестренкой. В лучшие времена в дом ходил даже учитель музыки, господин Косарковский, из студентов,

превратившийся в друга семьи... Мария проявляла к учению большое рвение. Всех детей Кернс связывали нежнейшие отношения, а младшая сестра была объектом обожания. Уверенность в любви окружающих, в особенности мужчин, порой сильно подводила ее во взрослой жизни, но в юности только придавала ей обаяния.

Гимназия с процентной нормой, по обстоятельствам тех лет, оказалась для детей Кернс закрыта. Иосиф, самый старший, рано ушел в пролетарии. Второй брат Марк конкурс не прошел, Михаил и не пытался – оба сдавали гимназический курс экстерном.

Деловые связи Пинхаса Кернса с владельцем фирмы, Луи Брандтом, давно зашли в тупик, но добрые отношения, в их письменном виде, продолжались и с наследником, старшим сыном Луи. Свой долг Пинхас выплатил в срок и время от времени закупал у “Омеги” часовые детали. Семья медленно и верно беднела. Несмотря на бедность, дом оставался гостеприимным, с постоянными чаепитиями и музыкальными вечерами, на которые сходилась разнообразная и разношерстная молодежь. Свободомыслящая... Особенно много народу собиралось в теплое время года, когда ставили самовар в маленьком дворике, примыкавшем к их квартире в первом этаже. Бедность веселью не мешала.

В октябре 1905 года в Киеве разразился еврейский погром, который довершил этот медленный процесс разорения: мастерская была полностью разгромлена, семейное имущество разграблено; что не унесли, то испортили. Даже и самовар ухитрились растоптать.

Киевское торговое и ремесленное еврейство было разорено, но последствия погрома носили не только материальный характер. Пережившие этот погром евреи почувствовали, как тонка пленка, отделяющая их от полной гибели. В уныние и печаль погрузились ученые талмудисты, наполненные божественными текстами и историческими сведениями из тысячелетнего прошлого. В моду входил сионизм, проповедующий собиране евреев-изгнанников на Святой Земле для восстановления исторического Израиля, но не меньшим успехом среди еврейской молодежи пользовались идеи социалистические. Революция 1905 года потерпела поражение, но мысль о новой, очистительной и освободительной революции тревожила сердца. Политика вошла в моду. Один только Пинхас Кернс, любимым развлечением которого смолоду было чтение газет на доступных ему языках, утратил вкус к спорам журналистов и политиков, забросил газетное чтение и вместо этого занялся починкой старинной музыкальной шкатулки, искалеченной погромщиками. Он лишь вздыхал, молча выслушивая бесконечные разговоры своих сыновей и их приятелей о переустройстве негуманно устроенного общества, о грядущих переменах и о борьбе, от которой старый Пинхас ничего, кроме новых погромов и неприятностей, не ожидал.

Пятнадцатилетняя Маруся, которую трое суток погрома, с восемнадцатого по двадцатое октября, соседи Яковенки, добрые люди, продержали в своей спальне, а в самые опасные часы в подполе, вышла на божий свет христоролюбивой радикалкой. Характер ее совершенно созрел в эти постыдные для Киева дни, и прежде приветливый мир разделился теперь грубо надвое, без всяких теней и нюансов: одни были борцы за человеческое достоинство и свободу, другие – их враги, эксплуататоры и черносотенцы. Яковенки, спрятавшие Марусю, кормившие и сохранявшие ее все эти ужасные дни, не принадлежали ни к первым, ни ко вторым, и она для удобства причисляла их к родственникам, которых любишь в силу естественной близости.

Пока Пелагея Онисимовна Яковенко вынимала выставленную в окне между двумя рамами небольшую икону Божьей Матери с Младенцем, Маруся смотрела на этот кусок

крашеного дерева и испытывала чувство смятенной благодарности к обоим: к монументальной, с крошечными глазками и накладной косою украинской соседке и к еврейской женщине Мириам, ее тезке Марии, с Младенцем Христом, которые защитили ее от орущей зверской толпы людей, именующих себя христианами. В этом месте происходило какое-то завихрение мысли, внутренняя определенность рассыпалась, и мир делился уже не пополам, между плохими и хорошими, а каким-то иным способом. Пелагея Онисимовна и дядя Тарас были монархистами, владельцами двух домов и трактира, то есть эксплуататорами, но люди-то они были хорошие, даже героически хорошие. Ходили слухи, что в эти ужасные дни погромщики убили русскую семью, которая укрывала еврейскую старуху. Яковенки наверняка сильно рисковали, приняв в дом Марусю... Все это так плохо складывалось в сознании, одна мысль мешала другой, ни ясности, ни порядка не было – только беспокойство и чувство, что необходимо как-то круто менять жизнь. Да она и сама, без Марусиных решений, менялась: старший брат Иосиф, участник отряда еврейской самообороны, как и все, кто в дни погрома взял в руки оружие, был сослан на три года в Иркутскую губернию. Марк покинул семью еще раньше – после окончания юридического факультета Петербургского университета он остался в столице, получил незначительную должность в адвокатской конторе. К большому огорчению отца, Марк оплатил свое “высокое” образование низкой, как считал отец, ценой: принял лютеранство. В семье об этом не говорили, как не говорят о постыдных болезнях.

Старый Пинхас, всю жизнь читающий газеты, религиозным фанатиком не был, но в синагогу захаживал и связи с единоверцами не прерывал. Поступок старшего сына он не одобрял, но молчал и тихо скорбел. Марк приложил много усилий к тому, чтобы и брат Михаил учился в Петербурге. Вскоре и Михаил покинул Киев, записался в Петербургский университет вольнослушателем.

Положение семьи – если не считать того, что из погрома все они вышли живыми, – было печальным. Но жизнь налаживалась сама собой. Из “Комиссии по сбору пожертвований в пользу пострадавших от погрома” прислали денег и вещей – немного поношенных, но хороших, только все большого размера. Мать села за шитье – порола, подкраивала, подгибала. Такого красивого платья прежде у Маруси не было: из шерстяной байки каштанового цвета, с шелковым кантом. Купили ботинки на пуговицах, первый раз не детские, с каблучком. Маруся стала барышней.

Когда братья разъехались, Маруся, избалованная вниманием множества молодых людей, ходивших в дом, привыкшая к культурным разговорам, бурным спорам, к домашнему веселью, шуткам и розыгрышам, обнаружила, что питалась чужой жизнью, сама же ничего собой не представляет и никто в дом их теперь не ходит, кроме скучных дальних родственников, Мишиного друга Ивана Белоусова, с которым он прежде учился вместе, да Богдана Косарковского, бывшего учителя музыки, а теперь кларнетиста в оркестре оперного театра.

Тоска, тоска. Музыка перестала звучать в их доме – старое пианино было разбито в мелкую щепу погромщиками, а о покупке нового в теперешних обстоятельствах и речи быть не могло. Вместо веселых застолий – редкие письма от старших братьев и множество коротких открыток от Михаила, описывающего яркую петербургскую жизнь. От этих открыток настроение у Маруси еще больше портилось.

Отец вставил выбитые в мастерской и в квартире окна, побелил стены и починил часовой ящик, в котором хранились чудесные пружинки и железочки, повесил его возле

своего рабочего стола. Большую часть дня отец проводил в мастерской, но занимался не посетителями, которых почти не было, а починкой музыкальной шкатулки. Помятый цилиндр, исполняющий роль нотного листа, Пинхас трудолюбиво восстанавливал, дело это было кропотливое – снова подогнать восстановленные шпены-ноты к “звукоснимающей” гребенке, которая тоже была попорчена.

Мария, всегда предпочитавшая молчаливое общество отца постоянному бормотанию матери, обжила себе уголок в отцовской мастерской и, свернувшись калачиком в старом кресле, читала одну за другой книги, чудесным образом доставшиеся брату Михаилу. Этот подарок, целая библиотека из двухсот книг, был прислан в дом писателем Короленко, узнавшим, что во время погрома у еврейского студента были изорваны и уничтожены все книги...

Кто бы мог предвидеть, что эти книги будут сопровождать Михаила до конца жизни и послужат основой знаменитого книжного собрания, которое и по сей день хранится у его внучки Любы, троюродной сестры Норы Осецкой, в квартире на Тверской улице в Москве.

Исхудавшая, с голубыми подглазьями, Маруся держала в руках выпуск “Нового журнала для всех” за 1903 год, с синей печатью на обложке – “Из книг Владимира Галактионовича Короленко” – и в третий раз подряд перечитывала рассказ Чехова “Невеста”. Как понимал он все не только про героиню рассказа, выскочившую из пошлости провинциального прозябания в новую, высшую жизнь, но и про нее, Марусю, которая тоже хочет вырваться из этой скуки и тоски, к жизни свободной, осмысленной, неопределенно-прекрасной?

Мать позвала обедать. Маруся отказалась. Отец, стирая с рук металлическую пыль чистой тряпочкой, позвал ее еще раз, но она покачала головой: при виде куриного супа подступала тошнота. Даже от запаха, который доносился из задней комнаты, начинало мутить.

– Хорошо, тогда посиди здесь. Если кто-нибудь придет, позови меня, – отец почти неотлучно сидел в мастерской, боясь упустить посетителя.

Как только отец вышел, звякнул дверной колокольчик. Маруся положила журнал на стопку книг, собравшихся возле кресла за последние недели, и открыла дверь. Вошла дама в суконной жакетке, обшитой бархатными полосками, в шляпе, похожей на низкий цилиндр с крыльями, каких не носили ни в Киеве, ни в каком другом городе. Маруся впустила даму и попросила присесть и минуту подождать, пока она пригласит отца.

Пока Маруся ходила за отцом, а отец мыл руки, дама просматривала стопку книг, лежавших на полу перед креслом. “Новый журнал для всех” не привлек ее внимания. Но обложка другой книги ее заинтересовала – неужели эта субтильная девица читает по-французски недавно выпущенную книгу модного автора Ромена Роллана “La vie de Beethoven”?

Этот вопрос задала дама пожилому часовщику, появившемуся через несколько минут.

– Это моя дочь, любительница чтения.

Часики, принесенные в починку, оказались, само собой разумеется, круглой золотой “Омегой” из первых моделей, столь памятных часовщику. Разговорились. Мадам Леру оказалась швейцаркой, родители ее были из Верхней Юры, она, как и Пинхас, давно покинула родные места, но даже одно произнесение названий рек и долин доставляло удовольствие обоим. За приятным разговором часовщик вскрыл заднюю стенку корпуса и, вставив стеклышко в костяном ободке в глаз наподобие монокля, вытащил пинцетом какой-то ерундовый винтик, порылся в ящике стола и достал точно такой же. На крышечке

циферблата не доставало одного мелкого камешка. Пинхас спросил, какого цвета был камешек.

– Красный был камешек, – сказала дама. – Они все красные.

Пинхас кивнул – камешек надо было выписывать из Швейцарии, запаса осколочных рубинов у него не было.

Любительница чтения, отбившись от ненавистного супа, бесшумной тенью скользнула в мастерскую. Посетительница, забыв о своих часах, обернулась к барышне.

– Вы читаете по-французски? И вам нравится книга? – спросила она по-французски.

– Да, очень.

– Вы любите Бетховена?

Маруся кивнула.

С этой минуты и началась та новая жизнь, по которой она так долго томилась. Мадам Леру, секретарь городского Фребелевского общества, начальница народного детского сада, после десятиминутной беседы пригласила Марусю посетить их исключительное заведение. В январе, через неделю после своего дня рождения, Мария Кернс получила свою первую должность – помощника воспитателя в недавно организованном заведении для детей бедных родителей и наемных работниц. Так в шестнадцать лет Маруся вступила во взрослую жизнь. Осенью того же года она поступила на вновь открытые курсы Фребеля при Киевском университете. Стала фребеличкой, “детской садовницей”, как их называли.

Глава 3

Из сундучка. Дневник Якова Осецкого (1910)

6 января

Проболел больше недели, так сильно никогда еще не болел. Несколько дней был как во сне – в который вдруг всовывалась мама с чашкой чая, доктор Владимирский и какие-то незнакомые лица, частично очень приятные, но все время позади них был кто-то очень опасный, даже страшный. Не могу его описать, но даже вспоминать неприятно. Временами я находился в каком-то ужасно плоском и темном пространстве и осознавал, что я уже умер. Я чувствую, что если не запишу, все растворится безвозвратно. А там было что-то неизмеримо важное – про мою совсем будущую жизнь. Завидую писателям – у меня не хватает слов.

10 января

Снова начал чтения. Даже с жадностью. Я просто оголодал за то время, что проболел. Сейчас читаю из биологии. Дарвина прочитал все, что мне принес Юра.

(Снайдер. Картина мира в свете естествознания.

Троэльс-Лунд. Представление о небе и миропонимание.)

Мысли о дарвинизме: теория эволюции органической жизни представляется мне в виде главной оси, от которой идут разветвления. Представители существующего животного мира располагаются на концах, из центральной оси нам известны не все, так как виды переходные не долговечны. Исполнив свое назначение (если о таковом вообще можно говорить), т. е. послужив ступенью к другому виду, – они исчезают.

Самым интересным вопросом является отыскание места человека на этой таблице. Есть ли он переходная ступень для чего-нибудь другого (например, к сверхчеловеку Ницше), или он занимает место на каком-нибудь конце разветвлений, что обуславливает более молодой возраст его как органического вида.

Сейчас мне пришло в голову такое решение этого. Если мы будем размножать какое-нибудь животное, очень быстро размножающееся, например, низшие или простейшие, или бактерии, то через некоторое время мы можем получить сотни поколений, последние поколения в силу закона эволюции уже будут, может быть, резко отличаться от первых. Заметив, через сколько поколений появляется разница, зная, сколько времени нужно для того, чтобы одно поколение выросло и сумело давать жизнь другим, мы сможем вывести отношение между возрастом жизни и периодом появления отличий.

Это отношение можно применить к жизни человека и узнать, когда могли или смогут появиться у человека такие отличия, при посредстве которых мы сумеем определить, где его место в родословной существующих и существовавших видов.

Теорийка эта вытекает из того, что я предполагаю прямую пропорциональность между возрастом человека и периодом, по истечении которого он может давать жизнь другим.

Теперь же, после того, как я написал все это, у меня сейчас же есть возражение. И даже тогда, когда я дописывал предыдущую страницу, я уже знал, что когда кончу “теорию”, я напишу возражение.

Дарвин доказал только закон эволюции органической жизни, прибавив к нему еще свое объяснение этого: теория естественного подбора.

Вставить в систему эволюции и человека Дарвин не решился. Сделал это Томас Гексли, признав (по происхождению) ближайшим родственником человека – обезьян.

На самом деле неверно. Дарвин часто повторяет: “Происхождение человека от какого-нибудь низшего животного неопровержимо. От общего родоначальника произошли и обезьяны”.

Биогенетический закон Геккеля состоит в том, что “онтогенетическое развитие или развитие зародыша схематически повторяет собой филогенетическое развитие или историю развития вида”.

Девственное размножение, или партеногенезис, или размножение без участия самцов и их семенных тел, распространено в природе (например, трутни).

Если сперматозоидов можно заменять искусственной средой, то роль их, вероятно, сводится к толчку, даваемому женскому яйцу. То же воздействие оказывают и искусственные физические и химические манипуляции.

С другой стороны, известны некоторые случаи так называемых “мерогоний”, или развития и размножения семенного тельца. Процесс оплодотворения оказывается, таким образом, и у высших животных лишь одним из способов, которым природа достигает цели размножения. Если б не музыка, то можно было бы заниматься биологией. Это самое интересное за последнее время, что я читал из науки.

Но музыка мне важнее!!!

15 января

Теперь я уже полюбил и свой дневник, и наслаждение писания.

Кончаю уже первую книжку, первый том полного собрания сочинений Я. Осецкого.

Второй том я уже буду начинать с бóльшим удовольствием, чем первый.

Тихо кругом...

Открыл форточку – воробьи чирикают, и на душе покойно, немного грустно, чувство удовлетворенности после заметок в дневнике. И почему-то грусть перед неизвестным будущим...

Сегодня я первый раз вышел из дому.

1 февраля

До чего человек слаб! Имею, кажется, и принципы, и мирозерцание, и понятие о воле, и понятие о половой нравственности, а стоило мне увидеть несколько большее декольте у прачки, как моментально чувствую прилив крови к сердцу (именно к сердцу), ничего не могу соображать, и меня невольно влечет ближе к ней...

Уходит она – я опять здоров, только чувствую небольшую дрожь в руках. Возмутительно так не уметь владеть собой. Я уверен, что стоит любой женщине мигнуть мне – я побежал бы, как собачонка; забыл бы Элл. Кей, и Толстого, и Пэйю.

Какие контрасты! После этого сажусь читать Э. Кей.

Для укрепления натуры, вероятно, той самой натуры, которая завтра уже сама побежит за прачкой.

15 февраля

Сегодня я решился поговорить с папой про дальнейшее образование. Весной я заканчиваю Коммерческое училище и хочу дальше заниматься музыкой. Я говорил излишне горячо, сейчас это понимаю. Папа выслушал меня очень безразлично, как будто решение его было принято давно и окончательно. Он сказал, что я должен поступать в Коммерческий институт, но он согласен оплачивать мои занятия по музыке в том случае, если я стану студентом Коммерческого института. Мне был этот разговор очень неприятен. Именно из-за денег. О чем бы он ни говорил, всегда сводит к материальности, к деньгам.

7 апреля

Читал “Летопись” Римского-Корсакова. Произвело на меня сильнейшее впечатление. Безумно захотелось играть талантливо, захотелось в Петербург, к талантливым людям, захотелось самому быть талантливым. Читал, и верилось мне, что выбьюсь на ту же дорогу. Быть может, через 5–6 лет я буду смеяться над теперешними мечтами...

11 апреля

Уроки музыки. Новый учитель, господин Былинкин. Как будто я ничем прежде и не занимался. Это ДРУГАЯ музыка! Я совершенно по-новому стал слышать. Я играл до этого времени НЕПРАВИЛЬНО!

19 апреля

У Бердслея есть графика “Баллады Шопена (ор. 47)”

20 апреля

Сегодня я сделал открытие, кот. я уже успел опровергнуть.

В силу темперированности рояля нижние и верхние тона не совпадают. Так что для С контр-октавы унисон в IV октаве будет не С, а Cis. Сейчас же родилась мысль такая: непрерывная октава С в контр-октаве.

На ее фоне течет маленький мелодический рисунок, построенный на С IV октавы. Аккорд звучит гармонично. Затем рисунок, не изменяясь, переходит в III, II, I, малую, большую и в контр-октаву.

Маленькая ошибка нарастает и в контр-октаве превращается уже в диссонанс.

Это можно назвать “постепенный переход консонанса в диссонанс”. Идея очень интересная!

Вообще на почве темперированности рояля можно разные “фокусы” делать.

24 апреля

Я никогда бы не мог жить один. Я люблю общество, только в обществе жив, весел, остроумен.

Я совсем не могу представить себе будущее без общества. Мечтаю об обществе, где я – центр.

Самые сокровенные мечты возносят меня на эстраду, где мне кричат, аплодируют. Кругом фраки, ленты, плечи... цветы без конца... А без общества?

“Вы, господа, не можете себе представить, как тяжело человеку, когда ему некуда идти. Человеку нужно куда-нибудь уходить”. Даже Достоевский, самый мрачный, тяжелый из писателей, устами Мармеладова говорит про тоску одиночества. Даже гигант

Достоевский не выдерживает ужаса одиночества!..

Страшно становится. Именно это – человек, сидящий в темной комнате, приводит меня в ужас. Я теперь пишу в уютной комнате после занятий. Думаю о том, что сейчас пойду в гости к знакомым курсисткам. От этой мысли становится тепло на душе. А кто-то одинокий сидит в комнате и думает...

Пойти бы к нему, ласково взять его, повести в общество, заставить говорить. Сказать бы ему, как это все тяжело и нелепо... Ни умения на это нет, ни ловкости, ни силы...

11 мая

Отчего не пишут этюдов, упражнений для оркестра. Ему особенно необходимы упражнения в “слитности” всех звуков для образования особого “оркестрового” тона.

Мне только что Илья предложил вступить к ним в кружок и написать для него (кружка) работу по искусству. Не знаю еще, приму ли я предложение; очень хочется принять его. Как раз у меня и мысль интересная есть: “Характеристика соврем. муз. момента”. Мне кажется, что основной чертой соврем. музыки является тоска по силе... Да и не только в музыке, если подумать.

19 июня

Слушаю квартет Глиера. В одном отношении существует сходство между новейшим течением в области художества – пуантилизмом, импрессионизмом и современной музыкой.

В картине неясность, лирика, главное – неуловимость, легкость. Картина в точках и штрихах как будто покрыта легкой завесой воздуха, *plein'air'a*. В музыке – полифоничность, сложность, тоже неясная лирика, и тоже – неуловимость.

Это, конечно, хорошо, что сходство есть.

Значит, есть идеи, теоретич. основы, общие для всех видов искусства.

Мне хочется теперь писать, много писать.

Играют *vivace*, III часть...

Кончили скерцо, маленькая изящная часть.

И вместе – сложная, нравится мне этот композитор – Глиер.

Странное совмещение у него русского стиля и модернизма.

Русская мелодия сменяется сложным отсутствием ее.

IV часть начинается восточной темой.

Сложнейше разработан этот квартет.

Декадентская разработка в восточной мелодии, в скрипке.

Вот странно. Какой-то новый, зловещий колорит.

Опять русская мелодия.

4 августа

“Там, где молчит слово, – там говорит звук. Безсильная в передаче акта воли, музыка может глубоко и интенсивно раскрыть внутреннее состояние человека, передать чистую эмоцию”.

20 августа

Больше двух недель я не писал. Многие действительно решилось. Поступил в Коммерческий институт и, главное, в музыкальное училище. Свершилось! Именно

свершилось.

Планов на этот год – бездна!

Учиться много музыке, сдать к Рождеству в Институте 5 экзаменов, в мае еще 4, занятия немецким языком, хочу пару уроков иметь. Придется мне пробыть в институте целых четыре года. Все для правожительства. Тогда прощай и музыка, и педагогика, и “заграница”. Впереди дорога банковского служащего, мелкая, поганая, с ежегодными надбавками. Постепенно и помаленьку втянешься в лямку до той поры, пока не почувствуешь невозможность оторваться от должности. Если я еще брошу музыку, то совсем погибну. Бывают иногда времена, когда исключительно живу грезами, когда я совсем уйду от повседневной жизни. Во мне живет большая часть Рудина и Пер Гюнта. Боюсь, что я никогда не исполню, по слабости своей, и сотовой доли своих мечт.

5 ноября

Страшный день. Скончался Толстой. Я теперь совсем спокоен, и как-то даже отрадно вспоминать, что полчаса назад я стоял в темной передней, рыдая в платок, и страшно боялся, чтобы кто-нибудь не услышал. После слез легче становится на душе. Действительно, слезами выплакивается горе.

На улице продают маленькие листки. Как-то страшно стало на душе, с замиранием проходил мимо читавших листки.

Дождь льет медленно, непрерывно, одуряюще.

В окне магазина большой портрет Толстого. Карточка “скончался 4/xi 1910”.

Приду домой – расскажу, нет, не расскажу.

Всегда если слышишь новость – первая мысль: скорее другим рассказать. Не скажу дома.

Вот мир, весь мир переживает такое несчастье, а я упорно, не переставая, думаю только о самом себе. Слушаю свои мысли, сочувствую своему горю, думаю о печальном выражении лица.

А Генрих в Одессе, наверное, тоже плачет. Лежит на кровати и плачет. Самый близкий, старший брат. Жаль, что его нет рядом.

Я у стола, а дождь льет. Не выдержал: “Мама, Толстой умер”. Не удержался я и заплакал, выбежал в столовую, в переднюю и сильно плачу... Они ничего, совсем ничего не понимают.

Думаю – это такой общий, общественный закон? Или наша семейная трагедия? Почему мои родители, такие добрые, любящие – никак не могут понять, чем мы все живем. Ни мои мысли, ни чувства? Неужели и со мной то же будет – и мои дети будут смотреть на меня с недоумением и думать: отец, такой добрый и любящий, но говорить с ним не о чем. Он погружен в свой мир, скучный и неинтересный. Нет, не может такого со мной случиться. Дал себе слово, что буду стараться понять жизнь своих детей, даже жить одной с ними жизнью. Только вот не знаю – возможно ли это?

5 ноября

Толстой не умер! Он жив! По телеграфу по все города мира сообщили, что он умер, но сообщение оказалось, к счастью, ложным!

7 ноября

Да, Толстой умер, только сегодня, 7 ноября в 6 ч. утра.

Я (опять я!) принял это известие почти совсем спокойно. Свое я уже выплакал раньше.

Когда-то я говорил следующее: смерть – это такая страшная штука, что самое лучшее – это о ней никогда не думать. Кто всегда думает о смерти, тот, конечно, перестает видеть смысл жизни, даже не смысл жизни, а смысл наших повседневных маленьких дел; такому человеку нужно только повеситься.

Но люди не вешаются, значит, в повседневных маленьких делах есть смысл, значит, не нужно думать о смерти.

Эти мысли в моей голове имели такой стройный крепкий вид; изложенные на бумаге, они какие-то недодумано-наивные, детские. Но я знаю, что говорю. Человек умер – тотчас все люди должны забыть его. Когда-то я говорил, что на своем смертном одре я разорву все свои фотокарточки, бумаги, попрошу детей не говорить обо мне. Запрещу носить траур.

Нужно подтолкнуть процессы, кот. и без того время сделает.

Вообще кошмарно-страшно все прошедшее, которого нельзя вернуть. Жизнь мчится ужасающе-быстро.

“Жизнь – миг”. Поэтому нельзя отдаваться воспоминаниям, отравляющим настоящее, в кот. только и есть смысл. Что может быть более ушедшего времени?

8 ноября

Бывают времена, когда я положительно не терплю своих родителей; это бывает, когда я часто говорю с ними серьезно. Когда же я их не вижу, то меня начинает тянуть к ним. Однажды я рассказывал одной знакомой о папе очень много, до того говорил, что чуть не расплакался: слезы в горле начали звенеть, а вот теперь мне неприятно, что нужно сегодня вместе обедать. Мы совершенно чужие люди, и я почему-то живу на его счет. Когда мы вместе идем или должны ходить куда-нибудь вместе (всего этого я тщательно избегаю), то я начинаю болтать и молоть всякий вздор, чтобы не молчать. Он никогда не интересуется мною; он, кажется, совсем не уважает меня, моих убеждений, привычек и вместе с тем любит меня, наверное. Странная любовь!

Я чувствую, что они главным образом меня озлобляют и раздражают по пустякам. Часто я виноват только тем, что рассказываю то, чего не следует; что возбуждаю разговоры, которые, наверняка, их не убедят. Теперь я меньше и меньше разговариваю с ними.

Маму я иногда люблю, но совсем не уважаю. Это что-то страшное. Чужие люди собрались, грызут друг друга, портят только жизнь и вдобавок живут все на чужой счет. Папа работает как вол. А со стороны кажется, что “счастливая семейная жизнь”. Хуже всего, что я сам мало-помалу чувствую, что у меня будет такая же семейная жизнь.

Нет, неправда, этого у меня не будет! Я горячо верю в это.

9 ноября

Роденбах. “Bruges la Morte”. Искусство, питающее корни свои в смерти. Страшно. Нельзя об этом думать.

Два года назад умер дедушка, смерть кот. меня не тронула ни капельки.

На днях я держал Раечку на коленях. Она слабая, хилая, бледное красивое личико с оттенком интеллигентной задумчивости. Думал о ее смерти. Казалось мне, что я хожу по комнате, держа в руках умирающую Раечку. Вдруг я понял этот миг, когда прижимаешь холодный трупик к груди и чувствуешь гигантское бесилье удержать уходящую жизнь.

Вот я теперь пишу это и что-то в горле начало щекотать, когда я вспомнил это... Раечка

сейчас в другой комнате поет песню про комарика.

Самое лучшее – вырвать в тот миг из своего сердца все место, принадлежавшее умершему, вычеркнуть его из воспоминаний, забыть любовь. Забыть!.. Невозможно-трудно, но нужно!

С другой стороны, зачем человеку насиловать свои чувства. Время само загладит все неровности и угловатости переживаний. Человеку хочется поплакать, погрузиться, пожаловаться на несправедливости судьбы. Хочется отдаться воспоминаниям, как завтра захочется помечтать?..

Что-то на душе беспокойно. Какое-то неясное ощущение тяжести, чего-то, что должно случиться...

А в Астапове лежит спокойно Толстой, обмытый, одетый в рубашку. Лицо спокойно-спокойно.

Вероятно – даже торжественно. Внимательно слушает всю мировую суету вокруг.

10 ноября

В церкви. По ком-то панихида. Эти дни меня посещают мысли о религии, о славе, в особенности славе. Разум мне доказывает ненужность славы, чувством же я страстно, напряженно хочу славы, славы самой пустяшной, лишенной всякого внутр. смысла. Андрей Болконский, то есть Толстой, об этом размышлял. О тщете и ничтожности “любви людской”. А мне хочется, чтобы на перекрестках упоминалось мое имя, чтобы все хвалили меня, восхищались мной.

Я прекрасно знаю, что если бы я достиг такого положения – я скоро разочаровался бы в нем. Все люди знаменитые подтверждают это. Толстой, Арцыбашев, Чехов и др. Я знаю, что слава несет с собой внешний эффект и внутреннюю пустоту, несет с собой массу лишений, неприятностей, горя, в особенности тяжесть отсутствия одиночества, постоянного общества, знаю еще, что слава ничто пред самым великим в нашей жизни – смертью (как Арцыб. еще сказал). Он так хорошо и тепло рассказал о смерти поэта Башкина: “... перед лицом умирающего, пред утихающей грудью, делающей последние судорожные вздохи, – как ничтожна, как мелка показалась мне моя слава, громкое имя, литературные заслуги”.

Разум мой все это принимает, но душа хочет видеть “Я. Осецкий”, напечатанное жирным шрифтом в газетной статье. Как это мелко и ничтожно, но все-таки этого хочется.

Того же дня вечером. Занимаюсь по теории музыки.

...Еду по трамваю, стою на задней площадке, смотрю вниз на полотно.

Вечер. Вагон мчится, а из-под него быстро, быстро выползают рельсы и, быстро двигаясь и блестя, аккуратно укладываются в две параллельные полосы. Этот момент особенно запомнился мне.

Тогда я особенно почувствовал бег времени, скачку секунд.

Вот только что мы были на этом месте, глядишь – оно уже в нескольких аршинах, саженьях, кварталах.

...Болтлив я очень! Случится слушатель – наговорю три короба, а дома съем себя за это. Зачем много нужно рассказывать всем, что я мечтаю о дирижерской карьере.

Толстой говорит... Кстати о Толстом: сегодня газета вся посвящена столетию со дня рождения Пирогова. О Толстом уже только две статьи. Завтра будет одна, послезавтра – только хроникерская заметка, на первой странице будет: юбилей начальника станции

“Киев”.

Да, так и будет, и быть должно. Время заглаживает воспоминания и приносит другие события.

Это так резко замечается по газетным статьям.

Грустно немного...

20 ноября

Мне кажется, что лучше всего сны описаны у О. Дымова. Есть у него и та неуловимость, и то чувство, которое является по утрам в постели, когда грустишь о позабытом сне.

Только что проснулся, помнится что-то, но никак не можешь вспомнить, что снилось.

Занимаюсь сейчас по-немецки. Кончил рассказ и откинулся на спинку стула, сознавая, что кончил урок. Приятное сознание... Легкий сон... Проснулся и помню, что снилось несколько разных сцен, с разными лицами, разными событиями, но помню только сцену в фойе театра, какая-то женщина расстегивает несколько пуговиц на лифе...

Из остального – ничего не помню, ни мелочи, ни одного слова, ни как-нибудь подробности...

Помню только что это было приятное... Нашел описание гимнастических упражнений для двухлетних детей: навалив несколько подушек на пол, заставляя детей барахтаться на них. Дети затрачивают массу усилий, чтобы слезть с них. Надо с Раечкой так поиграть – ей понравится, я думаю. Это ведь школа движения. Ее проходят естественным путем, а упражнения должны это свойство (движения) совершенствовать.

22 ноября

Последнее время проходит очень продуктивно. Как никогда еще. Теперь занимаюсь по многим предметам и почти по всем успеваю. Буду держать через месяц (теперь ноябрь) три экзамена в институте: статистику, полит. экон. и истор. полит. экон. Статистику я уже кончил, полит. экон. учу; ежедневно занимаюсь по-немецки час и очень успеваю; ежедневно играю около 3 часов, два раза в неделю хожу на урок музыки (уходит 2 часа) и 2 раза – на теорию музыки. Вот только не каждый день читаю.

...Вообще хорошо... Даже так странно – хорошо, что я не знаю даже, чего мне теперь нужно.

Все есть, всем занимаюсь... Разве недостает еще “близкого друга”, которого все это так же радовало бы, как и меня. Вот это верно. У меня совсем теперь нет друга (без различия возраста, национальности “и пола”).

1 декабря

Только что пришел из театра. “Хованщина”. Пришел – захотелось писать... Первый акт я прослушал с редким вниманием. Вообще первые акты я хорошо слушаю. Следил одновременно за общим ходом, отдельными артистами, особенно оркестром, дирижером.

...Мне кажется, что русский стиль в музыке однообразен и утомителен. Но Глинка непревзойден. Даже Рим. – Корс., написавший массу русских опер, называл себя “глинкианцем”. А к “Хованщине” я в общем отнесся спокойно. Хотя в ней есть драматические эпизоды. Музыка везде спокойна, однообразна даже... Хотелось бы взрывов, трагической страсти – этого нет.

...В антракте заметил молодую девушку. Сидела близко. Она мне сильно понравилась.

Последний акт слушал слабо: думал о ней. Мне было грустно, что вот она мне очень нравится, что она этого не знает, что я ее больше никогда не увижу, и – что самое худшее – я скоро забуду ее лицо. Я жадно глядел на нее, стараясь запечатлеть ее лицо. Посреди акта она начала сильно кашлять. Меня это очень встревожило. Я уже решил, что у нее больные легкие. Стало грустно. Очень хорошее лицо у нее, даже красивое. Она в белом большом воротнике с синим галстучком. Очень хорошо на ней сидит. С нею были два противных студента.

Когда я мысленно воскресил образ, вижу теперь, что он очень бледный и скоро забудется.

По дороге я злился на себя: десятки лиц с улицы, с трамвая запоминаются легко, а эта милая головка скоро забудется.

Сейчас же начал мечтать: иду по улице, встречаю ее, она одна (неприменно одна), подойду и познакомлюсь, потом мы пойдем в театр... Сейчас же я сочинил, что я ей буду говорить...

Если встречу ее на улице – сейчас узнаю и запомню ее лицо надолго. Только встретить бы.

Сел писать о другом, увидел последнюю строку сразу предыдущей записи “Только встретить бы”. Пахнуло вчерашним, далеким вчерашним. Сегодня я об этой барышне вспомнил только один раз утром. Больше не вспоминал.

Последнее время я как-то осязательно стал чувствовать свое счастье. В самом деле, у меня есть все необходимое. Есть музыка, есть образование, есть чистая комната, новый костюм, хорошее пальто, сонаты Бетховена, – чего еще?

Если бы мне дали сейчас рублей 20 – я не знал бы, куда их деть. Разумеется, я истратил бы их: купил бы ноты (которых я не играю), купил бы фисгармонию и что-ниб. Можно “постараться” истратить. Но нет не только сильного желания, но есть такое маленькое желание, которое граничит с безразличием (и деньги у меня есть, на театр достаточно).

Сиюю сейчас в своей комнате, занимался немецким яз.

Занес себе стакан чаю в комнату. Пью чай и меня охватывает чувство покоя, уюта и... семейственности.

В никелированной лампе отражается микроскопическая фигурка, пьющая чай. И кажется мне, что откуда-то сверху вижу я маленького человечка Я. Осецкого, его жизнь. Он такой маленький-маленький.

Тихо... Спокойно...

5 декабря

Читал рассказы Чехова. Очень много пишет о женщинах. И все мне кажется, что уничижительно. Как мог бы писать человек, который от женщин много плохого претерпел. Надо об этом хорошо подумать. “Анна на шее”! Как Анна, почуяв свою силу, гонит Модеста Алексеича: “Пошел прочь, болван!” Просто дух замирает. В один миг такой переворот характера! И как едет по улице – и пьяный отец, братья, с такой симпатией написаны, а она мимо... Особенно ужасно – “Тина”. Такая страшная хищница. Как будто он мстит за то, что сам не может от ее прелестей отказаться! Еще и с антисемитским настроением. А ведь после Толстого, самый великий – Чехов! Здесь что-то я не понимаю – как будто вся прелесть женщин с изящными руками, с белыми шеями и завитками,

из прически выпадающими, только для того и созданы, чтобы разбудить в мужчине самое низменное. Но ведь это не так!!!

Соната для форт. и скрипки Штрауса.

Скрипка под сурдинкой, рояль – пассажи, рр.

Очень красиво! Последнее время благодаря наполненному дню я почти перестал мечтать. И к лучшему! Пока! Думаю только о лучшем распределении дня, о занятиях музыкой, о немецком яз.

Кончили играть II ч. – e'impivisations.

Теперь – финал.

Самые далекие мечты теперь не заходят дальше лета, кот. я думаю использовать особенно продуктивно.

Последние дни нехорошо успеваю по музыке. Квартет Es-moll.

Читал про Брамса – он умер в 1897 году. То есть, когда он умер, мне было уже семь лет.

О симметрии

В природе нет симм. Природа не симметрична и не несимметрична: природа вне ее.

Симметрия есть только там, где есть человек, замечающий симметрии. Только человек замечает частный случай разнообразия природы: когда две половинки ему кажутся похожими друг на друга.

В природе нет и эстетики. Физика, химия, особенно механика – есть, а эстетики (и еще несколько дисциплин) не существует. Нет и классификации, нет неважного и важного. Все это создает человек.

19 декабря

Грустно... И еще грустно, что сейчас буду обыденными словами рассказывать обыденные ощущения.

Только что закрыл книгу Дымова, самого грустного, самого нежного поэта, которого я читал. Даже нежней Чехова. Отчего мне грустно?

...Слушаю музыку – грустно: отчего я так не играю, отчего я не играю даже своих пьес так хорошо, как хочется...

Смотрю на сильных, на красивых и опять протестует душа: отчего?..

Пишу сейчас и вспоминаю рассказ Дымова “Вечерние письма”.

Без даты (в конце записной книжки)

Быть может, именно в искусстве и должна быть провозглашена беспочвенность.

Нет критериев, нет теории искусства. Есть художник – нет истории искусств, а есть каталог картин.

Каждый берет от искусства что ему нравится. Нет объективности, есть субъективность.

Творчество Дункан.

Если можно еще уловить характерные черты современного искусства, то нарисовать теорию, кот. подходила бы ко всем эпохам и худ., – соверш. невысказано.

Тангейзер (вообще Вагнер).

1) Творчество художника зависит от личности, эпохи и среды. Причем худ. не копирует

среду, а лишь создает ее идеалы.

2) Отсутствие в искусстве критериев. Как это тяжело отражается на художниках, особенно критиках и толпе.

3) Характер современного творчества. Тоска по силе, стремление к мощи. Роден, Врубель, Вагнер, Брюсов, Беклин, Рерих.

4) Отражение стиля модерн в архитектуре.

5) Характеристика технических средств, кот. обладает модерн.

6) Современное искусство в целом вовсе не представляет той картины, кот. я нарисовал. В нем лишь намечается вышесказанное стремление.

7) Стремление современности к архаизму, к “возрождению”. Рерих, Сомов, Бенуа, Мусатов.

8) Недостатки этого стремления.

9) Искусство должно быть современно. Нужно помнить, что история поймет непонятное.

10) Слабое отражение современности в нашем искусстве.

11) Слабое распространение искусства в прикладном виде.

Художники не любят служить промышленности. А это самый верный путь. Старые мастера.

В “Пиковой Даме”, в момент появления видения графини, в оркестре звучит гамма целых тонов.

Фауст

6 petits preludes pour le commençants

12 petits preludes

Врубель, Боттичели, Роден, Беклин, Бердслей

Риль, Баумбах

Доминант-аккорд

(квинт-секст-терц-кварт)

Читать:

Тэн. Чтения по искусству

Гюйо. Искусство с точки зр. соц.

Лессинг. Лаокоон

Либер. Ист. з. евр. литерат.

Юдин; Искусство в семье

Ап. Васнецов. Художество

Андрей Белый, Вяч. Иванов. Книга о новом театре

Уайльд

Ганслик. О музык. прекрасном

Верман. Ист. искусств

Миттер. Ист. живописи XIX в.

Гнедич. Ист. искусств

Новый журнал для всех (1902)

Чехов “Невеста”

Времени! Не хватает времени! Надо спать меньше! Где-то я прочитал, что Наполеон спал три часа в день.

Глава 4

Закрытый Чехов

(1974)

Шел одиннадцатый год их связи. Тенгиз сказал, что Чехова пора закрывать. Нора изумилась: зачем? Какой русский театр без Чехова? Но Тенгиз сказал, что давно к этому готов. И начал разбирать по косточкам “Три сестры”, неожиданно остро и убийственно. Он поднимал свои красивые, очень красивые руки, удерживал их в воздухе, а Нора ни одного отдельного слова не слышала, а как-то впитывала в себя целиком странные фразы, которые и пересказать было невозможно. Говорил по-русски он не совсем правильно, но исключительно выразительно. Акцент грузинский был довольно сильный, из-за него немного смещался смысл. И даже расширялся. Почему так происходило, Нора никогда не могла понять, но всегда радовалась, чувствуя, что дело не только в языке, но во всем строе мыслей человека другой земли и культуры...

– Скажи мне, почему они Эфроса закрыли? Правильные “Три сестры” он поставил! Бедные, их так жалко. До слез жалко! С девятьсот первого года эту пьесу всё поднимают и поднимают, всё выше, в небеса поднимают. Да? Я не могу больше это смотреть! Уже хватит, да? – свое длинное, с повышающимся хвостом “да” он просто обрушивал на Нору.

– Нора! Нора! Толстой говорил про “Трех сестер” – скверная скука! Лев Толстой что-нибудь понимал? Или нет? Все тоскуют! Никто не работает! В России никто не работает, в Грузии тоже, между прочим, не работают! А если работают, то с большим отвращением! Ольга, директор гимназии, это же отличная работа, начало века, женская гимназия, женское образование, начинают науку преподавать, не только вышивание и Закон Божий, появляются первые профессионалы, девочки-профессионалы! А ей скучно, Ольге, из нее по каплям силы и молодость выходят! Маша влюбилась от скуки в Вершинина, очень благородный, но очень глупый! Беспомощный! Что это за мужчина? Не понимаю! Ирина работает в управе, на телеграфе, бог ее знает где – работа скучная, утомительная, все плохо! Работать не хочет, в Москву хочет! Жалуются! Все время жалуются! А что, что они в Москве будут делать? Ничего! Потому и не едут! Андрей – ничтожество! Наташа – “шершавое” животное! Соленый – животное настоящее! А бедный Тузенбах – как можно жениться на женщине, которая совсем тебя не любит? Мусорная жизнь какая-то! Нора! Ты понимаешь, кто главный герой? Ну, понимаешь? Ну, думай! Анфиса! Анфиса главный герой! Нянька ходит и за всеми убирает! У нее жизнь осмысленная, Нора! У нее веник, швабра, тряпка, она стирает и моет, она убирает и гладит! Все остальные – дурака валяют и скучают. Им скучно! А кругом что? Начало века, да? Начинается промышленная революция, да, капитализм? Железные дороги строят, фабрики, заводы, мосты! А им в Москву хочется, только не могут до вокзала дойти! Ты поняла меня, да? Да?

Нора уже улетела далеко, она уже знала, что сейчас нарисует, что построит, знала, как Тенгиз будет радоваться тому, что она сразу, с места не сходя, все придумала, весь спектакль! Она уже видела Прозоровский дом, вскрытый, обнаженный, сильно вынесенный на авансцену – а справа, слева, кругом стройка, подъемные краны, вагоны едут по своим делам, и жизнь движется, скрежещет, какие-то гудки, сигналы... но в доме Прозоровых

совсем, совсем не замечают этой деловой жизни, движения, преобразования, они бродят по дому, пьют чай, беседуют... только Анфиса таскает ведра, тряпки, выливает тазы... Отлично, отлично! Все герои тени, одна Анфиса плотная. Одеты все в кисею, в дым, и военные тоже полурасстворенные. Анемия. Вымороченное пространство. Сад почти бесплотных душ. А оденет она всех в сепию, как на старых фотографиях, такие блеклые обесцвеченные одежды. Такое историческое старье! Да, конечно, Наташа Прозорова плотная, в теле. Густо-розовое платье, зеленый пояс! На фоне всеобщей сепии, бесцветно-бежевого, коричневатого... Это будет гениально!

Нора сказала – да. Тенгиз обхватил, смял, прижал к себе: Нора, мы сделаем такое, такое, чего не видели! И никогда не увидят! Нас, конечно, разорвут! Но мы сделаем! Будет лучшее из всего, что мы с тобой делали!

Два месяца они не расставались. Тенгиз репетировал. Чеховский текст, бытовой, обыденный, всегда насыщаемый режиссерскими тонкими подтекстами, дополнительными смыслами, превращался в автоматический лепет, а семейное вязкое пространство становилось сновидческим, как будто мечты и неосуществимые планы и были реальностью жизни, воздушным узором воображения. Театр теней! Но трудились в этом зыбком пространстве только двое – Анфиса со своей тряпкой и Наташа, прибирающая к рукам всю плоть жизни – комнаты сестер, дом, сад, местного городского начальника, весь доступный ей мир.

Тенгиз не раскрывал актерам своих убийственных планов, и они раз за разом произносили заезженный текст в скучном недоумении. Что и нужно было Тенгизу.

Жил Тенгиз у своей московской тетушки Мзии, вдовой пианистки, которая обожала его. Нора, по требованию Тенгиза, перебралась в ее квартиру в странном двухэтажном строении – чудом сохранившихся службах разрушенного имения, на задах Пушкинского музея. Мзия отвела им две крохотные комнатки во втором этаже, сама жила на первом, в большой комнате со старинным, неизмеримой глубины ледником под полом. Когда-то там держали все лето лед с реки, а теперь хранилась сырая гулкая пустота, закрытая дощатой крышкой.

В который раз Нора справляла с Тенгизом этот праздник – все границы и рамки сметались под напором работы и любви, невероятного подъема всех сил и способностей. Полнота и плотность жизни была изумительной, Нора теряла представление о прошлом и будущем, и все люди – близкие и друзья – исчезали до полного растворения. Раза два-три за эти два месяца Нора звонила матери. Звонить было сложно, обычно с Центрального Почтамта, с уведомлением, с ожиданиями, с плохой связью. Амалии приходилось ходить за три километра на почту, в переговорную. Но все равно обижалась, что Нора редко звонит, робко сердилась.

На самом-то деле все было давно и бессловесно расставлено: Амалия Александровна обожала своего Андрея Ивановича и с того времени, как он появился в ее жизни, отодвинула в сторону дочь. Этот пожар старческой, как полагала Нора, страсти пожрал весь мир – они уехали в Приокско-Террасный заповедник, родные места Андрея Ивановича, он устроился смотрителем, купили дом и завели там свой невыносимый для Норы рай. На этот раз мать пригласила Нору приехать к ним в деревню “со своим режиссером”, Нора пообещала. Обычно она не врала, но в этот раз ей неохота было тратить время на пустой разговор.

За неделю Нора сделала из ватмана прирезку, черновой макет сценического

пространства, тщательно его собрала. Тенгиз, рассматривая подъемные краны, почти задевающие крышу Прозоровского дома, и нарисованные на заднике не то небоскребы, не то готические соборы, стонал от восторга. Спектакль возникал просто сам собой – проходила Анфиса перед еще закрытым занавесом, подтирала пол на авансцене, потом раздавался шум стройки, открывался занавес и все пространство сцены начинало жить преувеличенно-индустриальной жизнью: грохотал металл, визжали отбойные молотки, и двигались стрелы кранов. Потом стройка замирала, растворялась в воздухе, и проступал из-за светового занавеса дом Прозоровых... Утро... Накрытый стол... “Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая...”

Все происходило само собой, естественно, как трава на дворе растет, только очень быстро. Надменный и важный завпост этого заслуженного, замшелого театра Свисталов отнесся к Тенгизу с неожиданным почтением, слегка перепутав его с Темуром Чхеидзе. Он отдал распоряжение цехам, и сразу же начали делать декорации – такого “зеленого света” еще никогда не бывало. Всем был известен характер Свисталова, он любил показать свою личную власть: и Боровскому перечил, и Бархину препятствовал, и на Шейнциса собак спускал – то есть всем, всем Нориным любимым художникам пакостил... Чудо, просто чудо случилось! Может, действительно завпост расчувствовался перед грузинской внешностью, потому что грузин в России как-то, в общем виде, любили, в отличие от всяких евреев, армян и азербайджанцев...

Они влетали парочкой, в любовном облаке, через служебный вход – и вахтер им улыбался, и буфетчица, и такое счастье их держало в коконе, что Нора чувствовала, как они слаженно двигаются, не то балетные, не то фигуристы, и как летают, летают...

Спектакль закрыли накануне премьеры, успели только отыграть генеральную, в костюмах, в декорациях. Когда уже своя публика, папы-мамы начали расходиться, а остались только министерские людоеды, которые специально и пришли-то на день раньше, чем собирались, и стало ясно, что сейчас разразится скандал, Тенгиз вышел на сцену и попросил дорогих зрителей остаться на обсуждении. Но от этого министерские спецы стали только злее, убийство спектакля длилось всего пятнадцать минут.

Тогда Тенгиз снова поднялся на сцену, ведя за руку очень почтительно Нору, и сказал громко, белым от злости голосом:

– Уважаемые! Вы дали Эфросу отыграть тридцать три спектакля! Неужели наши “Три сестры” настолько лучше?

Нора проводила его в аэропорт. Хмурая весна, без единого солнечного дня, хмурый Тенгиз. Нору он как будто не видел, никто им больше не улыбался, любовное облако развеялось – он улетал в Тбилиси к жене и дочке на тяжелом железном самолете. Стоял понуро, небритый, с сединой на висках, лоб неандертальский, заваленный назад, несло от него перегаром, потом, почему-то мандаринами. Он вынул мандарин из кармана, сунул ей в руку, подмигнул, клюнул в щеку и побежал на посадку.

Глава 5

Новый проект

(1974)

Из аэропорта Нора приехала к Мзии и две недели провалялась на втором этаже, в постели, где пахло Тенгизом. Дней десять ужасно болели кости, потом перестали. Мзия приносила ей по утрам чай, Нора делала вид, что еще спит, та ставила на столик с нардовой наборной столешницей чашку и уходила, притворив дверь. Почти каждый день около двенадцати снизу начинали подниматься гаммы – приходили ученики. Были начинающие, с этюдами Черни, несколько уже бегло играющих, а один мальчик, который приходил дважды в неделю в вечерние часы, играл замечательно, и Мзия с ним занималась подолгу. Он разучивал какую-то сонату Бетховена, но Нора не могла вспомнить, какую. Точно не Семнадцатая и не три последние... Музыкальную школу Нора бросила в шестом классе, не доучившись. Способностей больших не было, но память музыкальная – от отца – хорошая.

Инструмент у Мзии звучал хорошо, но был слабенький, тихий... Под музыку было не так больно. Проснувшись, Нора говорила себе – сегодня встать не смогу, может, завтра. Но завтра тоже встать не получалось. Иногда Мзия подходила к двери, звала поесть. На пятый день Нора спустилась вниз. Мзия ничего не спрашивала, и Нора была ей очень благодарна. Только теперь она разглядела породистое лицо, разлинованное тонкими морщинами, подрумяненные щеки, выкрашенные по-кавказски густой хной волосы, собранные в пучок на макушке, тонкие ноги на тонких каблуках, выстукивающие ритм... Пока здесь был Тенгиз, Нора почти не замечала его молчаливую тетушку. Даже и ее затейливую квартиру не рассмотрела как следует. Теперь она сидела внизу, за столом, покрытым винным бархатом, Мзия поставила перед ней тарелку с двумя бутербродами и порезанное лодочками очищенное яблоко.

– С тех пор как мой муж умер, я ни разу еду не готовила, – извинилась Мзия, и Нора почувствовала, что они, кажется, одной породы...

“Да я своему мужу вообще ни разу в жизни ничего не приготовила”, – подумала Нора. Улыбнулась впервые за эти дни и сказала:

– Простите меня, Мзия, что я тут на вас свалилась.

– Живи, живи, девочка. Я привыкла одна жить. Я давно одна. Но ты мне не мешаешь.

– Я еще несколько дней, хорошо?

Мзия кивнула, и больше они не разговаривали. Ни о чем.

Нора пролежала на Тенгизовых простынях, пока запах его почти улетучился, только иногда подушка вдруг отдавала какую-то тень его тела. И Нору передергивало.

“Это просто такая молекула, молекула его пота, – думала Нора. – А у меня такая болезнь, сверхчувствительность к этому запаху. Что за напасть? Почему эти короткие разряды так прожигают, оставляют такой след, такой шрам? А если бы он был обыкновенным любовником, с которым едешь на неделю в Крым или заводишь роман на гастролях – был же чудный мальчишка в прошлом году в Киеве, или старый Лукьянов, актер, бабник, любитель деталей и подробностей, почти на двадцать лет старше... – не так бы болело?” Ответа не было...

Шестой раз Нора с Тенгизом расставалась, и каждый раз это было все тяжелее.

Она нюхала подушку, но его запах исчезал, пахло сыростью, пылью, известкой. Засыпала, просыпалась. Снизу поднимались гаммы и голос Мзии: “Миша! В терцию! Правая рука начинает с ноты «ми»! В дециму – правая начинает с ноты «ми», но на октаву выше! Миша!”

Разбегались гаммы, Нора засыпала, просыпалась, снова засыпала...

“Не могу разлюбить, надо его похоронить! Только придумать как. Чтобы не от длинной болезни, а сразу! Пусть утонет в море или в горах разобьется... А лучше пусть погибнет в автомобильной катастрофе. Нет, мы вместе погибаем в автомобильной катастрофе. Два закрытых гроба рядом. Приезжает его жена из Тбилиси, в черном... рыдает моя мама. Приходит Витя с безумной Варварой. И Варвара тоже плачет!” – и тут она улыбалась, потому что свекровь ее на дух не переносила и, наверное, на похороны Норины пошла бы как на праздник... Бедные, бедные... Оба сумасшедшие... Нет, все глупость ужасная.

В полусне Нора то получала телеграмму о смерти Тенгиза, то рвала его паспорт, то несла на помойку его куртку, запихивала ее в мусорный бак – освобождалась от него. На второй неделе она стала придумывать себе новую жизнь. Уйти из театра – это раз. И что-то совершенно новое придумать – даже не рисование преподавать в кружке пионеров, куда давно звали, а совсем другое. Получить новое образование. Химиком стать или биологом. Или классной портнихой... Нет, с бабьем работать не хотелось. Словом, пока что правильного дела для себя она не находила. Но одна занятная мысль вдруг запала в голову, и она начала к ней потихонку привыкать, очень осторожно... И это уж будет точно для себя... Прежде такое ей в голову не приходило...

Еще через три дня Нора сползла с совершенно опустевшей кровати и пошла прощаться. Мзия поцеловала ее, просила приходить, не забывать. Тетка была потрясающая – ни одним словом о Тенгизе не обмолвилась! Нора оценила.

Из замкнутого двора вышла через Знаменку к Арбатской площади. Все рядом. Шла Нора медленно, потому что – оказалось – сил совсем нет. Мелкий дождь висел в воздухе. Миновала Арбатскую площадь, подошла к дому. У подъезда встретила соседку Ольгу Петракову с коляской. Помогла втащить ее в лифт. Соседка была немолодая, за сорок, у нее была довольно большая девочка, лет пятнадцати, и вот еще образовался новый ребенок.

– Чего так смотришь? Это внучка моя. Наташка наша родила. Ты что, не знала, что ли? Весь дом знает!

Понятно, блядовитая школьница принесла в подоле. В девятом, что ли, классе. Интересно. И я в девятом классе... супермена нашла... Никиту Трегубского. Потому что я была смелая и бесстыжая. И гордая. Но рожать? В то время скорее аборт бы сделала!

Нора заглянула в коляску – один нос торчал из розовой шапки.

– Хорошенькая! – одобрила Нора приплод. Подтолкнула внутрь лифта коляску. – Поезжай, я пешком.

– Да чего хорошенького? Вылитый отец! Смотри, носешник какой! Армянский! – и, задержав рукой съезжавшиеся двери, закончила: – Там вся семья просто на пупе вертится, что значит – армяне!

Нора поднималась на четвертый этаж и, когда подошла к своей двери, уже твердо знала, что теперь устроит себе такую интересную жизнь, какой прежде не было.

Дверь в квартиру была заперта на оба замка – значит, приезжала мама. Сама Нора обычно запирала только на нижний. Мама с мужем Андреем Ивановичем в Москве появлялись редко. В кухне на столе лежала записка: “Нора, тебе звонила Анастасия

Ильинична, Перчихина и Чипа. Позвони. Мы будем в пятницу вечером, останемся на субботу. Целую. Мама”.

Непонятно было только, какая это пятница – прошлая или позапрошлая. И дни недели, и числа совершенно выпали из головы.

Не заходя в свою комнату, полезла в ванну. Долго отмокала. Даже задремала. Тенгиз все пытался прорваться к ней в полусон, напомнить о себе, Нора его гнала прочь. Тогда он подослал Антона Павловича с его сепиевыми сестрами, и это было его ошибкой, потому что три сестры, унылые и несчастные, выталкивали ее в жесткую жизнь без сантиментов, с задачами и решениями... И она заторопилась, поднялась из остывающей воды, включила очень горячий душ.

“У меня новый проект”, – сказала она себе, выпрыгнула из ванной, растерлась махровым халатом, потому что чистое полотенце забыла взять, и почувствовала сильный голод.

“Сегодня никак не может быть пятница, скорее, среда. Сейчас сбегая в «Кишку», – так называли продовольственный магазин с длинным торговым залом, у Никитских ворот, – куплю еды и позвоню Вите. Верный, верный Витася! Шуточный муж, с которым ни дня вместе не прожили. Да и невозможно. Гений, аутист, сумасшедший. Поженились сразу после школы... И никакой любви – один расчет. Вернее, глупая месть. Что кому хотела доказать? Никите Трегубскому... Встретила его лет через пять в кафе «Синяя птица», он подошел, шевеля плечами, спортивной походкой, как будто вчера расстались, как ни в чем не бывало... Боже, какой идиот! Манекен пластмассовый! Во что влюбилась, идиотка? И что с этим поделать? Тенгиз, тоже суперменская порода! Хотя и другого рода... Гормоны чертовы! Новый проект! Новый проект! Витя, Витася!”

Позвонила. Подошла Варвара Васильевна, сразу трубку передала сыну. Разговаривать не стала. Свекровь Нору ненавидела, сильно и глупо. Они все-таки оба здорово не в порядке – и мать, и сын. В разном жанре.

– Придешь, Витася? Вечером?

– Приду...

“Может, я плохо придумала? Но ведь вышла я за него зачем-то замуж? Попробую. Нет, все правильно. Вдруг гения рожу?.. И тогда эта детская глупость будет оправдана...”

К вечеру дождь усилился. Нора надела куртку с капюшоном и побежала в “Кишку” покупать сосиски... Мужа кормить.

Прошел год с тех пор, как Тенгиз уехал, даже больше. Нора поменяла в жизни все, дотла. Хотела, чтобы не осталось следов от прошлого, чтоб никогда больше не случалось таких пожаров, потопов, землетрясений, потому что надо жить, надо выжить, а Тенгиз уезжает всегда, уезжает навсегда... со своей небритой щекой, с рукой скульптурной, как у Давида Микеланджело, с неправильным прикусом, запахом деревенского табака, с узкими бедрами и тощими, как у собаки, ногами, и никогда, никогда больше не удастся сыграть этот великий, убийственный спектакль...

Переписка между ними не была принята. Редкие телефонные звонки в одну сторону – от Тенгиза к Норе. То ли он оберегал от нее свою тбилисскую жизнь, то ли все их долгие отношения были взяты в скобки как нечто особо ценное и не смешивающееся с потоком неизвестной для Норы Тенгизовой жизни, где были и женщины, и родственные отношения с каким-то крупным криминальным человеком, который иногда вытаскивал его

из неприятностей... Единственное письмо, которое Нора получила от Тенгиза, пришло через полгода после его отъезда, после его месячного пребывания в Польше, в лаборатории Ежи Гротовского. Письмо было коряво написано на оберточной как будто бумаге, коричневатой, с виду старой. Он сообщал ей, что поменял веру, все прежнее разбито, а обломки оказались лучше целого... “Надо поговорить” – было нацарапано внизу. Но разговор этот состоялся только через два года.

Юрик уже ходил, покачиваясь и падая на попку.

Глава 6

Одноклассники (1955–1963)

Витю Чеботарева должны были бить. Просто обязаны были бить. Но ему повезло, и били другого, Гришу Либера. И не сильно, а так, слегка, скорее чтобы показать свое отвращение к еврею-вундеркинду. Оба они были вундеркинды, но Гриша, еврейским детенышем-недоростком, розовым и толстеньким, а Витя был ростом хорош, силен и обезоруживал полнейшим непониманием предъявляемого ему общественного недовольства. Витина верхняя губа была слегка приподнята скученными зубами, и это придавало ему добродушное выражение. Он был в некоторой степени аутист, “странненький”, как оценивала его родная мать, Варвара Васильевна. Она, женщина деревенская, простая и умная, возвысившаяся из домработниц до секретаря ЖЭКа, даже водила своего Витю еще до школы к знакомому по прежней, домработничьей жизни старичку-профессору, который и сказал ей, что мальчик ее вовсе не дебил, скорее даже гениальный, но с особенностями. Такие дети редко рождаются в мир и с ними надо вести себя внимательнейшим образом: при правильном отношении из таких деток вырастают великие ученые, а при неправильном они прозябают на задворках жизни... Это Варвара с восторгом приняла и своего отпрыска пальцем не трогала, берегла и ожидала от него больших успехов. Она и сама была человеком, поднявшимся очень высоко от того положения, с которого ее жизнь начиналась. Работая у хороших хозяев, смогла закончить и семилетку, и техникум по коммунальному хозяйству, и комнату получила, а потом, уже в ЖЭКе работая, доросла и до отдельной квартиры в центре, правда, в цокольном этаже, как уважительно называли почти подвальный этаж вросшего в землю дома в близком соседстве от последней квартиры Гоголя. Вот такая карьера была у Варвары Васильевны – это как из водопроводчиков в академики шагнуть. Так что на сына своего, рожденного от не совсем удачной любви, возлагала большие надежды. И он материнских надежд не обманул. Перетерпела Варвара Васильевна первые годы Витинового обучения, когда учительница жаловалась на его невнимательность, рассеянность и неспособность влиться в детский коллектив, но в пятом классе, когда вместо простой арифметики появилась алгебра и геометрия, Витя расцвел. Учитель математики сразу выделил его из всех других школьников, стал посылать на школьные олимпиады, тут и началась первая Витина слава.

Старичок-профессор оказался прав! Невнимателен Витя был к тому, что ему неинтересно, а в том, что касалось всяческого умственного соображения, он оказался быстр, остер и жаден до всякого знания. При необыкновенной памяти и врожденной логике мышления в эмоциональном отношении он был туповат, а чувство юмора отсутствовало даже в зачатке. Какое такое короткое замыкание произошло в его голове – неизвестно, но в результате этого замыкания он пребывал счастливейшим образом в отвлеченных полях математики, а любой литературный текст, начиная от сказки про Красную Шапочку и кончая “Королем Лиром”, прочитанным в отрочестве, вызывал у него глубокое недоумение отсутствием логики, натяжками и нарушением причинно-следственных связей в поведении и героев, и авторов.

Одноклассники с их футболом и морским боем его всегда мало интересовали, один

только Гриша Либер был ему собеседником. Они составляли забавную парочку – маленький Гриша, который ростом одноклассников не догонял, а весом превосходил, катался около долговязого тощего Вити как шарик и что-то ему постоянно доказывал. Витя же молча выслушивал, кивал, почесывал выпуклый лоб. От Гриши Витя узнавал много интересного, потому что Гришин отец был физик, многое с сынишкой обсуждал, а Гриша был по характеру общителен и даже болтлив, так что парочку они составляли смешную – говорливый шарик и молчаливая жердь. Когда одноклассники добрались до “Дон Кихота”, то Гришу стали звать “Санчо Пансой”. И точно, конфигурация была та самая. Благодаря Грише Витя даже познакомится в конце концов со своими одноклассниками, которые его настолько не занимали, что он даже не всех знал по именам.

В пятом классе слили мужские и женские школы, но Витя и этого будоражающего кровь события почти не заметил. Но и на него девочки внимания не обращали. Единственной, с кем он изредка разговаривал, была Нора, их общение целиком лежало на совести преподавательницы литературы и классной руководительницы Веры Алексеевны, которая назначила Нору, любительницу чтения с врожденной грамотностью, подтягивать Витю по своему предмету. В процессе этих занятий они не подружились, но по крайней мере познакомились. Так, до девятого класса, Нора его и подтягивала. Он вызывал Норин интерес критическим прочтением любого предлагаемого произведения и безошибочной точностью, с которой он указывал то на несостоятельность отдельно взятой метафоры, то на принципиальную нелогичность и нестрогость гуманитарных наук в целом. По русскому и литературе выше троек он не поднимался, но многолетнему победителю всех школьных олимпиад по математике многое прощалось.

В классе Витю не любили, девочки считали его “воображалой”, но никаким воображалой он не был – воображение его было специфическим и к этому времени только пробуждалось, да и то в такой области, где девочки отсутствовали, и даже духа их там не витало.

В седьмом классе прошла эпидемия, вроде ветрянки, – все повлюблялись. Девочки ссорились и плакали, мальчики дрались больше обыкновенного, – легкий электрический заряд висел в воздухе. Витя вообще никогда не дрался. Да Витю девочки и не занимали.

Облако напряжения сгущалось около Нины Князевой, начинающей красавицы, и Маши Нерсесян, которая достигла раннего восточного расцвета в четырнадцать лет. Было еще несколько хорошеньких девочек, вызывающих мужской интерес, но не столь острый. Нора к ним не относилась. Но и у нее появился поклонник – милый и смешной Гриша. Нора Гришу полностью игнорировала. Проявлявшая с детства самостоятельность и независимость, на этот раз она пошла по общему пути...

Никита Трегубский отвечал всем девичьим представлениям о мужском совершенстве: хорошо двигался, хорошо улыбался, был ласков и нагл. У него конкурентов почти не было – остальные мальчики еще не набрали достаточной для успеха мужественности. У половины девочек класса при виде Никиты включалась программа продолжения рода – не избежала этой напасти и Нора. Влюбилась она в Никиту без памяти еще в шестом классе, а в восьмом бесстрашно и бесстыдно вовлекла его в самую настоящую любовную связь. Нора не подозревала, какой дивный мир открывается между простынями, и она счастливо отдавалась этому открытию в течение нескольких месяцев при каждом удобном случае. Позднее Никита, к молчаливому смятению Амалии Александровны, оставался у Норы ночевать.

Тайну эту хранили юные любовники целый год. В начале девятого класса по школе пошел шепоток, сплетни... Скорее всего, Никита похвастал своей победой перед мальчишками, в конце концов, дошло до учительской. Классная руководительница Вера Алексеевна взялась педагогично поговорить с Норой с благим намерением замять назревающий скандал. Почесывая на нервной почве голову, глубоко взволнованная Вера Алексеевна начала эту щекотливую беседу с краткого введения о нравственных устоях... Нора не дала договорить. Она очень холодно сообщила, что не собирается обсуждать здесь свою личную жизнь, что ее отношения с мужчинами – так и сказала, “с мужчинами”! – (тут Вера Алексеевна зачесалась с удвоенной энергией) никого не касаются, кроме нее самой и второго человека, о котором она не собирается здесь распространяться. Словом – не ваше дело!

Вера Алексеевна оскорбилась. Вера Алексеевна пошла на скандал. Парторг школы Элеонора Азизовна предложила провести внеочередной педсовет, посвященный исключительно преступлению несовершеннолетних девятиклассников. Пригласили родителей преступников. Ромео повел себя слабовато, публично покался в любовной связи и выдвинул довольно убедительную версию, что он был не инициатором, а скорее жертвой. Багровый папаша “жертвы”, хоккейный тренер размером с трехстворчатый шкаф, произнес обличительную речь в адрес Амалии Александровны. Он оказался достаточно хорошо информирован о семейной жизни матери малолетней преступницы – а в то время Амалия Александровна еще не была замужем за Андреем Ивановичем, то есть состояла в связи с женатым мужчиной, о чем и поведал Трегубский сладострастно замершему учительскому собранию. Нора взглянула на мать, сидевшую в углу классной комнаты с убитым видом, и на нее напала вдруг такая ярость, какой она никогда в жизни больше не испытывала. Как посмел этот старый кабан обидеть ее мать! Мир показался ей огненно-красным – и ее прорвало. Она потом так и не смогла вспомнить, что она такое выдала старшему Трегубскому, а заодно и всему педсовету, но слов этих в словаре Ожегова не было. Взяв мать за руку, вышла вон, хлопнув дверью. Исключение последовало немедленно, даже без обсуждения.

На следующий день Нора, с красными от полопавшихся сосудов глазами, собранная, как парашютист перед прыжком, пошла в школу и забрала документы, а потом три дня рыдала без перерыва. Амалия Александровна пыталась ее утешить, но Нора отвергала всякое участие матери в свалившейся на нее неприятности. Бедная Амалия была не менее дочери травмирована экзекуцией. Нора была оскорблена больше за мать, чем за себя, с новой силой раздражалась на Андрея Ивановича, поставившего свою возлюбленную в столь двусмысленное положение, яростно ненавидела Никиту и одновременно очень хотела, чтобы он немедленно, сию минуту занялся бы с ней преступными упражнениями, замечательно снимающими всякие казенные неприятности.

С этим событием был связан важный жизненный опыт: во-первых, она решила, что никогда в жизни не заведет роман с женатым человеком, как это произошло с ее матерью, и, во-вторых, она поняла, что любовь делает человека беззащитным и уязвимым, что секс следует отделить от человеческих отношений из личной безопасности. И третье, что она сказала сама себе: не хочу, чтобы меня жалели. И сама себя не буду жалеть.

В день, когда вывесили на доске приказов сообщение об отчислении Норы, а слухи о скандальном педсовете поползли среди старшеклассников, перед входом в школу произошла драка не драка, а скажем, стычка. Гриша Либер остановил Трегубского, который, как часто с ним бывало, опаздывал, и произнес торжественно: ты подонок, Трегубский!

Гриша запланировал благородную пощечину, размахнулся, но театральный жест не удался – Никита опередил его и врезал кулаком по мягкому Гришиному личику. Никакой дуэли не получилось. Гриша рухнул наземь, ударившись дополнительно о железную ручку двери, а Никита проскочил в распахнутую дверь и помчался на третий этаж. Он жил рядом со школой и, единственный из всех, прибежал в школу без пальто в любую погоду... Школьная медсестра отвезла окровавленного Гришу в ближайший травмпункт. Грише наложили шов на скулу. Происшествие он объяснил тем, что споткнулся и разбил скулу о дверь... Этот шрам в виде легкой галочки, воспоминание о его первой и тайной влюбленности в Нору, он сохранил на всю жизнь.

О том, что Нору исключили, Витя узнал спустя неделю, от нее самой. Пришел к ней и сел, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Вытащил тетрадку по литературе. Проходили Гончарова.

– Вот, Обломов, – сказал он.

– Да ты что, хочешь, чтобы я с тобой занималась? Меня же из школы выгнали!

Он как-то ухитрился не заметить такого шумного и широко обсуждаемого в мужской, как, впрочем, и в женской, уборной события. Тут Нора засмеялась. Рассказала ему о своей истории с Трегубским. Витя посидел минут пятнадцать, про Обломова и “обломовщину” им обоим говорить не хотелось, а больше было не о чем. Он выпил чаю с пятью ложками сахара, съел всю предложенную ему еду, опустошив полностью холодильник, и пошел к двери. Вдогонку Нора, повеселевшая от этого неожиданного визита, пригласила его заходить, если понадобится написать сочинение. Приход его был тем более приятен, что ни одна из Нориных одноклассниц у нее не появилась. Впрочем, она ни с кем из класса и не дружила. Была только одна Чипа – Марина Чипковская, с которой она подружилась не в школе, а в художественной студии, куда ходила в тот год.

Витя приходил к Норе регулярно, но не очень часто. Появлялся на пороге, и Нора не могла взять в толк, почему он к ней таскается – не за чашкой же чая! Но он и сам бы не смог объяснить, зачем ходит. Скорее, была какая-то инерция встреч, почти условный рефлекс: литература, Нора, сочинение... Так проходил он к Норе до окончания года, а летом встречи их прекратились, что было вполне естественно – занятий в школе уже не было.

Летом Нора легко сдала экзамены в театральное-художественное училище и с нового учебного года ездила каждый день на троллейбусе “Б” на Сретенку, и все ей было интересно – от троллейбусного маршрута до предметов, которые там преподавали. Главное же ее приобретение – учитель, мастер, Анастасия Ильинична Пустынцева, Туся, настоящий театральный художник, преподавательница и воплощенный, по Норинуму представлению, идеал современной женщины. Учиться на театрального художника было интересно, и Нора радовалась, что ее выгнали из школы, иначе пришлось бы тосковать на предпоследней парте еще два года.

Единственное, что омрачало ее жизнь, – собственная внешность, которая никогда ее не удовлетворяла, но в тот год особенно. Но театр давал новый подход к жизни! Нора начала эксперименты по поиску нового образа – стала сильно краситься, постриглась почти наголо, похудела – ненароком, но ей это понравилось. Все-таки пухлые щеки напоминали о розовом пупсе, а провалы под скулами – стильно, остро. Свою худобу она стала беречь. Наложила запрет на сладости – который, кстати, сохранила на всю жизнь – сказавши себе однажды “я этого не люблю”. И как будто действительно разлюбила. Начала курить – сильно, много, совершенно без всякого удовольствия. Амалия чуть не плакала, выбрасывая окурки

из пепельницы: “Нора, лучше бы ты пила, чем курила. Мало сказать вредно, но пахнет так противно! Чехов говорил, что поцеловать курящую женщину все равно что облизать пепельницу”. Нора отмахивалась, смеялась:

– Мамочка! Мне с Чеховым все равно не придется целоваться...

Вообще целоваться очень хотелось, очень нужна была какая-нибудь маленькая любовная победа, а еще лучше – несколько. Она холодно осмотрела горизонт и обнаружила, что парней вокруг много, но самый привлекательный парень с третьего курса, с оформительского, Жора Бегинский, хотя внешне на Никиту Трегубского похож не был, слегка напоминал его повадками. Нет, нет! Этого не нужно! Влюбляться она больше не собиралась. Никогда. Особенно в суперменов. Объектов среднего качества или вообще без качества среди будущих машинистов сцены, осветителей и звукооператоров было хоть отбавляй. Довольно скоро Нора добилась первых мелких побед. Стоили они недорого, это она прекрасно понимала, но в этот период жизни ее интересовала только техническая сторона любви, и она упражнялась в этом новом искусстве при любом удобном случае, с каждым более или менее подходящим партнером. С каждой победой ее женское самоуважение поднималось.

Витя оказался в этом ряду невольной добычей, и добычей благодарной. Попал Норе под руку где-то в районе сочинения о “Тихом Доне”. Для него оказалось полной неожиданностью, что на свете есть удовольствия, не имеющие отношения к математическому анализу... И он готов был ради этих новых радостей потерять часть бесценного математического времени, несмотря на то, что шел десятый класс, и ему предстояло поступление на мехмат – высокая планка даже для него, победителя всех математических олимпиад. Они стали встречаться – в прежнем режиме, но резко поменяв содержание.

В Вите не было и тени игры – честность, серьезность и добросовестность присутствовали во всем, за что он брался. Вопрос о том, хороша она или нет, Нору совершенно переставал волновать в его присутствии: он просто не замечал всех тех экспериментов, которые она над собой проделывала в поисках красоты, стиля и успеха. Заметил только, что она постриглась не по-женски...

Присутствие в Нориной жизни устойчивого Вити – Витаси, как она его называла, – каким-то образом освободило ее от беспокойства по поводу внешности. Даже вопрос – нравится она мужчинам или не нравится – был снят с повестки дня. Оба они были по горло заняты учебой, встречались у Норы, когда возникали просветы в набитой занятиями жизни, все было легко и хорошо получалось. Разговаривать было не о чем, но не для разговоров, в конце концов, они встречались!

Ближе к концу учебного года Норе пришло в голову, как забавно было бы после скандального изгнания из школы заявиться на выпускной вечер в белом платье с фатой в качестве Витиной невесты. Очень, очень забавно! Пусть проглотят эти старые кошелки, пусть Никиту перекосят, а я посмотрю! И она предложила Вите пожениться – для смеха. Идея эта не показалась ему особенно забавной, но его жизненных планов женитьба не нарушала. К тому же свои представления об общечеловеческой жизни он строил в основном исходя из маминых бормотаний, и именно благодаря ей у него сложилось представление, что сексуальные отношения вне брака почти преступны и уж во всяком случае неправильны!

...Они пошли в ЗАГС, никому об этом не сообщив, и подали заявление.

Заявление у них приняли, хотя с заминкой. Нора, склонив голову и соединив на животе

руки калачиком, шепнула чиновнице, что у нее есть основания поторопиться. Та смекнула – не первый случай в практике. Тетка попалась сердобольная и понимающая, объяснила процедуру. Вскоре все бюрократические препятствия, связанные с недостаточным возрастом новобрачных, Нориными усилиями решились – благодаря деятельной помощи одного старшекурсника из художественного училища, промышлявшего изготовлением поддельных справок, пропусков, проездных билетов и прочих несложных документов, – и в самом начале июня их свежие паспорта украсила нужная печать.

Позднее Нора отменила белое платье, сообразив, что на выпускном вечере будет много невестообразных девушек в белых нарядах, и соорудила вместо этого нечто театрально-экстравагантное.

Явилась Нора в школу на выпускной вечер с Витей под руку и с порога объявила всему школьному обществу, что они поженились. Одета она была черт-те как, то есть в высшей степени неприлично, и выглядела среди девушек в светлых, почти свадебных платьях как ворона на снегу: в черных потертых шортах и в черной совершенно прозрачной блузке, поверх которой напялила белый атласный корсет на китовом усе, позаимствованный в костюмерной театра Станиславского. Задуманный эффект удался – учителя, живо помнившие о скандале двухлетней давности, встrepенулись – может, выгнать? Или пусть попляшет на празднике, которого сама себя лишила? Репутация Норы как распутницы и хулиганки была подтверждена.

Сильнейшее впечатление этот театральный номер – с женитьбой и появлением Норы на выпускном вечере – произвел на Гришу. Он и не подозревал, что тихий Витя так преуспел в любовном промысле... Гришина школьная любовь к Норе давно прошла, остался только шрам на скуле: куда более глубокое впечатление произвело на него то, как это Витя удержал в тайне от него, своего единственного друга, отношения с Норой? Не говоря уж о женитьбе...

Витя, которого преподаватели рассматривали как очередную жертву Норы, не заметил Нориного экстравагантного наряда. Он ждал одного – поскорее бы закончилась официальная церемония, и тогда они с Норой пойдут к ней домой, закроют дверь и займутся тем увлекательным делом, которое порой казалось ему даже более интересным, чем решение математических задач. В сторону Никиты Трегубского Нора и не посмотрела. А тот подойти не решился, только хлопал своими бараньими глазами в крутых ресницах. Ради него она и придумала весь аттракцион с замужеством. К сожалению, никакого удовольствия Нора не получила.

Оба они быстро забыли об этом разовом выступлении, родители молодоженов только года через два узнали о странном браке, который фиктивным назвать было нельзя, но и нормальным – тоже. Варвара Васильевна была вне себя от этой выходки и долго пребывала в недоумении, а потом оно прошло, сменившись живой ненавистью к невестке, которую она в глаза не видела. Когда они познакомились при случайных обстоятельствах, Нора ей сильно не понравилась и, как казалось, навеки. Амалия же, узнав о тайном браке дочери, только руками развела: “Ну, Нора! Твои фокусы не разгадаешь!”

Витя Норе изредка звонил, они виделись, но она забывала о нем от встречи до встречи. Пару раз она предъявила кому-то из подружек свой паспорт с казенным штампом, скорее для смеху, но сам статус замужней женщины освобождал от девичьего беспокойства, которым все вокруг страдали.

На третьем году брака у Норы завелся лихорадочный роман, который продлился две недели. Это был первый роман не с мальчишкой-ровесником, а со взрослым человеком,

режиссером, забежавшим в мастерскую к Тусе поздравить ее с минувшим днем рождения. В первый вечер режиссер слегка отбивался, Нора же просто колесом ходила вокруг него, и он, привычливый к женским домогательствам, лениво согласился. Его всегда тянуло к телесным женщинам с большими грудями, волосами, ногами, а девчонки на тонких ножках, с прозрачными ушками на почти голой голове и жадными ртами его пугали. Их стало в последнее время много в актерской среде, и до сих пор ему удавалось обороняться. Но в этот вечер он устал, потерял бдительность, выпил, размяк от разговоров и сдался без боя. Никакой московский роман не входил в его планы, но девчонка его не выпустила из рук, и две недели они все не могли расстаться, разлепиться. А потом он уехал, унося возросшее к себе уважение и благодарность к Норе, своей яростной любовью разбудившей в нем сокрытые и предназначенные, конечно, для чего-то иного силы.

Нора осталась в опустошенной Москве, пытаясь заштопать дыру, которая была больше ее самой. Оказалось, что случай с Никитой Трегубским, из которого она извлекла вроде бы прекрасный урок, ничему не научил: влюбилась. Но теперь она уже знала, что клин вышибается клином. Она мобилизовала своих поклонников, кувыркалась с ними в разных позициях и обстоятельствах, но чертов этот Тенгиз все не развеивался. Тогда она еще надеялась, что это обойдется. Ни он, ни она не могли тогда предположить, что эта история пожизненная.

С Витасей Нора в тот год почти и не виделась. Случайно, возле метро, встретились, и на время оживились их отношения. В это время как раз Андрей Иванович дозрел до развода, Амалия ушла из своего конструкторского бюро, где чуть ли не двадцать лет проработала чертежницей, и они уехали жить в деревню, в Приокско-Террасный заповедник. Поначалу еще приезжали в Москву, а потом построили дом, со всеми почти удобствами, завели животных и стали приезжать все реже и реже.

Витася опять стал захаживать, иногда ночевал. Варвара Васильевна укреплялась в своей ненависти к невестке-невидимке, но та об этом и не догадывалась. И это тоже было обидно свекрови – что за отношения такие? Она уже была не прочь и высказать ей все, что она думает, и всласть поругаться, но случая не выпадало. Долго, очень долго не выпадало этого случая. Да, откровенно говоря, так во всю жизнь и не подарила Нора свекрови возможности объясниться...

Глава 7

Из сундучка. Дневник Якова Осецкого (1911)

1 января

Сегодня утром проснулся довольно рано, припомнилась вдруг с необыкновенной ясностью картинка из далекого детства. Тринадцать лет назад. Мне еще нет семи. Мама со мной учится. Ежедневно пишу две странички чистописания. Сажу я в столовой нашего крошечного домика в Ртищеве (“собственный дом”), вечер уже. Переписал целый рассказ, а еще остается две странички свободные. Пишу на них: Яков Осецкий, 1 января 1898 года. Мама говорит – до 1 января еще два часа осталось, теперь еще декабрь. Отвечаю: “Ну, все равно я ведь спать уже иду”.

А утром пришла прислуга, какой-то незнакомый мужик, поздравляли с Новым годом и обсыпали рожью, ячменем. Газета “Жизнь и Искусство” получилась очень большая, с картинками. Потом приехал Генрих, мой старший брат, какое счастье! Как же я его тогда любил! Впрочем, он и сейчас самый интересный и образованный в нашей семье. Мать его умерла в родах, его приняла тетка, у которой тогда был грудной ребенок, и выкормила его. Так он и остался в той семье. А когда отец женился второй раз, на маме, мои родители хотели его забрать, но тетка не отдала. Как же я по нему тосковал, когда был маленький. Но я и сейчас скучаю, когда долго его не вижу. Полтора года уже, как он уехал в Германию, учится в Геттингенском университете. Там богатая семья, а у отца нет возможности послать меня в Германию. Но я уверен, что со временем я сам заработаю себе на учебу и поеду в Германию, как Генрих. В Геттинген или в Марбург.

Как здорово, что есть старший брат, хотя я так редко его вижу... Младшие – совсем другое дело. Малыши все чудесные, но Иву я сейчас больше всех люблю и чувствую. И я для нее тоже больше всех значу. Это на всю жизнь. Она уже не ребенок, барышня, настоящая женская грудь выросла, и она стала стесняться. Прелестное существо. Мне так странно думать, что какой-то мужчина будет ее любить и вся эта плотская история с ней произойдет, и дети. Отчего-то неприятно мне про это думать. Мне через три недели исполнится двадцать лет, а я все не могу про себя решить – взрослый я или еще подросток. Думается мне, что когда я серьезно занимаюсь музыкой, или математикой, или читаю книги хорошего сильного содержания, я совершенно взрослый, но стоит мне оказаться с моими младшими, как я опускаюсь в возрасте лет на пять-семь. Как вчера веселились, играли, и я как сумасшедший с ними скакал, пока Раечка не упала и нос не расквасила... Неужели и у меня будут дети, много детей. Но ведь сначала жена – смутно вижу ее. Мне кажется, что я узнаю ее. Но вряд ли это случится скоро.

10 января

Юра вчера сказал, что в Киев приезжает Рахманинов. Два концерта! 21 и 27 января! Теперь у меня самое главное дело – достать билет. Продажа еще не началась, я сегодня же побегу к Радецкому, попрошу его обратиться к его тетушке, которая в Киевском Музыкальном обществе секретарь много лет, чтобы добыла для меня билет – могу на колени встать, только не знаю, перед Радецким или перед его тетушкой!

22 января

Вчера писать не имел сил. Да и сегодня – не имею. Но все кажется, если не запишу все, от первой до последней минуты со мной произошедшее, оно исчезнет. Такой бури я в жизни еще не переживал, и главное – как будто произошло начало жизни только вчера, а до того всё были упражнения, этюды какие-то. Гаммы, гаммы! Сначала – Рахманинов. В первом отделении он дирижировал симфоническим оркестром. Вторая симфония. Я прежде не слушал. Гений нового времени. Но надо много слушать, много для меня нового. Он был не во фраке, как полагается, а в длиннополом сюртуке. Коротко стрижен, и внешность – как будто он авиатор или ученый-химик. Не артист. И внешность его такая мощная, что с первой минуты уже понятно, какой это колосс, гигант! И все первое отделение я просто не знал, где я нахожусь – на небесах? Только не на земле. Но место это не божественное пространство, а человеческое, только очень высокочеловеческое. В нем и мелодическое начало очень сильное. Какое-то совсем иное направление, чем у Скрябина, и оно больше соответствует моей натуре. Даже было такое чувство, что внутри моего тела органы – сердце, легкие, печень – по отдельности радуются этим звукам. Билет, между прочим, у меня в партере, не за тридцать копеек. Отец подарил мне десять рублей ко дню рождения. Наверное, Ива ему сказала, что я мечтаю на этот концерт попасть. Да мне бы хоть на галерку, хоть на лестнице постоять. Но я – в партере. Это имело важное последствие. После первого отделения зал аплодировал стоя десять минут. Такого успеха я никогда не видел. Вышел в фойе, публика наэлектризована, отовсюду слышны восторженные слова. Просто гудят все! И тут я вижу: стоит возле колонны девушка худенькая, бледная, шея тонкая из большого белого воротника как белый стебель вырастает. Я вижу ее чуть сбоку и сразу же узнаю. Она! Та самая! Синий галстучек из-под белого воротника. Да я лица почти и не вижу – кидаюсь к ней: “Какое счастье! Я знал, что я вас встречу непременно! И на таком концерте, на таком концерте!” Она смотрит на меня спокойно и с удивлением: “Извините, это какая-то ошибка! Мы с вами не знакомы”. – “Конечно, конечно, не знакомы! Но я видел вас на представлении «Хованщины». Вы были с двумя студентами! Очень противными!” – это у меня вырвалось, я тут же ужаснулся сам, как это выскочило с языка. А она посмотрела на меня с величайшим удивлением, а потом засмеялась таким чудным девчачьим смехом, как Ивочка смеется.

– Чем же вам не понравились молодые люди? Один из них мой брат, второй – его хороший друг! Вы удивительно неудачно решили начать знакомство!

И она, все еще улыбаясь, сделала движение в сторону, и я понял, что она не одна, а с ней крупного телосложения дама, весьма немолодая, в мудреной сеточке на сивых волосах, по виду классная дама.

Я ужасно испугался, что сейчас все рухнет, она уйдет и больше я уже никогда ее не встречу, и я вцепился в рукав ее платья совершенно как безумный и задержал ее. Она нисколько не испугалась, отвела мою руку и сказала, что ей надо подниматься на верхний ярус и она желает мне получить еще большее удовольствие от второго отделения.

Все, все – теперь она уйдет навсегда и все, все! Умоляю вас, умоляю, не поднимайтесь на галерку, мне мой отец подарил сегодня билет в партер, день рождения, понимаете ли... Прошу вас, поменяйтесь местами, это пятый ряд, середина, одиннадцатое место.

Она посмотрела на меня с большим сочувствием, закивала головой: прошу вас, не волнуйтесь так, я с удовольствием перейду на ваше место, тем более, что с моего

не только ничего не видно, но и слышно плохо. Весьма благодарна за любезность.

Она помахала своей спутнице и сказала по-французски: “Мадам Леру, я встретила знакомого, который предложил поменяться со мной билетами, у него партер!”

Девушка держала билет неуверенно, как будто предлагая его француженке, но та оживилась, отвела ее руку, подняла брови и сказала даже с юмором что-то вроде – идите, идите, Мари... и посмотрите, нет ли у вас еще одного знакомого в партере?

И мы обменялись с ней билетами, я проводил ее на свое место, усадил, и она мне кивнула благодарственно, но свободно. Она, вероятно, девушка исключительно хорошего воспитания – такая простота общения бывает только у хорошо воспитанных людей.

Я взобрался на галерку, когда Рахманинов уже садился за рояль. Он взял первый аккорд – и я просто пропал, пропал. Сейчас прошло почти двое суток, и я уже достал партитуру через Филимонова, кларнетиста, посмотрел, и еще буду долго изучать, но все же осталось ощущение, что первая часть недосыгаемая. Это начало разговора в верхнем и среднем регистре, и низкие звуки фа контр-октавы, самое начало, и мощная тема, и вступление струнных и кларнетов... Концерт был огромным по содержанию, в нем нет ни одного пустого поворота, ничего декоративного, одна суть! Кончилось второе отделение, просто буря поднялась! Публика была в каком-то восторженно-нервном состоянии, а Рахманинов был так спокоен и невозмутим, гигант, гигант! Хлопали мерно, отбивая ритм, и вроссыпь, и снова в ритм!

О Господи! Я забыл, полностью забыл о чудной барышне. Когда слушатели устали от оваций и уже расходились, я вспомнил про девушку и понял, что я ее потерял, она уже ушла и никогда уже не найдется. Я буквально скатился с лестницы, и действительно, народ уже расходился, я кинулся в гардероб за своим пальто, и хотя магия музыки меня еще не оставила и я еще был счастлив, но уже был и несчастлив, потому что понимал, что я потерял то, что теперь уже никогда не отыщу. Я схватил свое пальто и, на ходу натягивая, бросился к выходу, чтобы – если повезет – нагнать ее на лестнице или возле трамвайной остановки... И я зацепил полой пальто за какую-то даму, которая сидела на бархатной банкетке и надевала ботики. Я извинился – это была она! У нее было измученное музыкой и очень светлое лицо. Она, конечно, про меня забыла, даже не сразу узнала.

Я проводил ее домой – она живет на Мариинско-Благовещенской улице, в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Ее зовут Мария. Мария. Мария.

Глава 8

Сад величин (1958–1974)

Еще в восьмом классе Гриша Либер и Витя Чеботарев отправились на мехмат, записались в кружок. Там два десятка мальчиков и две случайные девочки зажили совсем особенной жизнью. Но даже в этом отборном питомнике талантов Витя выделялся. В том же году он занял первое место среди московских школьников и, что особенно удивительно, победил он среди девятиклассников! Через год выиграл на первой математической олимпиаде школьников в Бухаресте, правда, получил второе место, а не первое. Это его не огорчило, а скорее удивило. К этому времени он уже привык, что среди сверстников равных ему не было. Но он не тщеславился, потому что был прирожденным ученым и лучшей награды, чем победить трудную задачу, для него не было.

В девятом классе осенью Гриша принес заболевшему ангиной Вите книжку. Это была “Теория множеств” Хаусдорфа, книжечка довоенного издания, неказистая и потрепанная, через многие руки и умы пришедшая к Вите, чтобы раз и навсегда изменить глубочайшим образом всю его жизнь.

Вечером, после ухода Гриши, выпив положенную таблетку и прополоскав горло, Витя разлегся на диване, чтобы перед сном просмотреть книжку, которую Гриша велел не мусолить и беречь. Ценная. Он открыл книгу. Ничего подобного он не видел! И сон, и ангина, и само чувство реальности покинули его. Он провалился! С каждой прочитанной страницей он ощущал себя физически изменившимся. Несколько лет он решал разрозненные хитроумные задачи и полагал, что занимается математикой, но только этой ночью он вошел в пространство настоящей математики. Это была целая планета чудесных и разнообразных множеств. Утром он посмотрел в окно и отметил, что мир ничуть не изменился, и непонятно было, как это дома стоят и не падают, когда в мире есть такое!

Витя так никогда и не прочитал известных строк Мандельштама, но переживал то самое чувство, которое смутными словами описал поэт:

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный дикий лечебник, –
Задачник огромных корней.

Словом, он попал в тот самый сад. Ничего прекраснее нельзя было и вообразить.

К десятому классу Витя стал настоящим математиком. Его слегка расширенный в лобной части череп – как это бывает у детей, перенесших легкую гидроцефалию, – вмещал мозг, в котором двигалась, дышала, варилась и пенилась расширяющаяся вселенная, а все

прочие сигналы организма – есть, пить, совершать естественные отправления – были лишь помехой постоянной работе его счастливого от напряжения мозга. Ничего, кроме математики, его не интересовало, и даже дружба с Гришей слегка увяла. Гриша как собеседник перестал его удовлетворять. Точнее, наслаждение, которое он испытывал от звуков математической музыки, настолько превосходило все прочие радости, включая и радость общения, что он с легкостью отказывался от всего “постороннего”. Само физическое возмужание он воспринимал приблизительно как ангину, как нечто мешающее, и в тот период отрочества, когда подростки остро страдают от гормональных революций, Витя нашел простой способ избавляться от мешающего напряжения: по сильнее нагрузить голову...

Нора, обитавшая на окраине интересующего Витю мира, как раз в это время очень своевременно поменяла статус репетитора по литературе на сексуально-дружеский и с готовностью приняла его созревшую мужественность. Она была незаконным дитятей сексуальной революции, о которой ничего еще не слышала – если не считать Марусиных смелых, но старомодных речей о полной эмансипации женщины в социалистическом мире, произнесенных шепотом из страха перед соседями...

Витя был благодарен Норе за освобождение от гнета гормонов, которое наступало сразу же после их кратких и бурных встреч. Технических встреч... Последовавший сразу после окончания школы шуточный брак ничего не поменял в их отношениях. Иногда он заходил к Норе, целенаправленно и по-дружески, иногда и Нора звонила ему: они встречались, а расходясь, не назначали следующей встречи. Когда-нибудь... Витя все силы отдавал другому роману – с математикой. Нора с превеликим удовольствием рисовала, слушала лекции по истории театра и читала книги.

Витя поступил на мехмат и в первый же год с головой ушел в теорию множеств – относительно недавно, в середине девятнадцатого века возникшую область математики, куда постоянно тянуло безумцев и самоубийц. И его засосало. Человеческие судьбы, характеры и биографии еще не стояли за названиями теорем. Только несколькими годами позже, когда начали переводить на русский язык многотомник по математике и ее истории, написанный группой математиков, укрывшихся под псевдонимом Николая Бурбаки, Витя узнал о судьбе основоположника всего направления, Георга Кантора, уроженца Петербурга, создавшего понятие актуальной бесконечности, философа, музыканта, исследователя Шекспира, заплутавшего в сложностях созданного им самим мира и умершего в нервной клинике в Галле. После него, кроме всего перечисленного, осталась “проблема Кантора”, она же “континуум-гипотеза”, которую, как убедились последующие поколения математиков, невозможно ни опровергнуть, ни доказать... Узнал Витя и о смерти Феликса Хаусдорфа, покончившего с собой в сорок втором году, перед отправкой в концлагерь, оставившего потомкам Хаусдорфово пространство и парадокс Хаусдорфа, а также много всего другого, касающегося не столько математики, сколько самих математиков.

Весь четвертый курс Витя писал работу по вычислимым функциям, вызвавшую восторг заведующего кафедрой, тоже весьма экзотического человека.

Университетское начальство, вынужденное считаться с выдающимися заслугами заведующего кафедрой, всемирно известного ученого, прощало его чудачества, но Вите, его ученику, ничего не прощалось. Стиль тех лет задавал партком, деканат был у него в послушании. Студентов держали в узде – обязательные комсомольские собрания, политинформации, общественные поручения. Витю время от времени наказывали

за пренебрежение законами существования, однажды не допустили к экзаменам за несдачу зачета по физкультуре, другой раз едва не отчислили из университета из-за “картофельно-морковной истории”.

Всех студентов каждый сентябрь отправляли “на картошку”. Более приспособленные к условиям советской жизни заблаговременно добывали медицинские справки. У Варвары Васильевны, по ее положению секретаря ЖЭКа, были хорошие связи во всей округе и добыть нужную справку ей было раз плюнуть, но Витя вовремя не попросил и пришлось ему исполнять эту комсомольскую повинность.

На этот раз студенты работали с большим энтузиазмом, поскольку комсоргом курса Денниковым было обещано, что их отпустят, как только они выкопают всю картошку с колхозного поля необъятного размера. Ребята, воодушевленные таким обещанием, работали от зари до зари, собрали урожай в две недели и радовались, что выиграли для себя лично пятнадцать дней свободной жизни. Однако Денников к окончанию уборки смылся, его отозвали по комсомольским важным делам, а другой объявившийся вместо него “партайгеноссе” объявил, что теперь они будут убирать морковь. Тут же начались дожди.

Студенты взвыли и вышли на поля за морковкой. Но не все – несколько принципиальных уехали. Витя тоже уехал – не из принципа, а по болезни. Простуженный, с высоченной температурой залег в постель и предался математическим грезам. С ним случилось то, что он в более зрелые годы назвал “интуитивной визуализацией”, он даже пытался описать свое переживание мира множеств, леса или кружева красивейших связей, передвигающихся в пространстве, ничего общего не имеющем с грубой реальностью, где кипел и выкипал на кухне чайник, преследуемые Варварой Васильевной неистребимые тараканы шастали по кухне, в окно его полуподвала пыхали выхлопные газы с Никитского бульвара. Описание не удалось...

Туманные виденья, непостижные уму, перемежались полузабытьем, в котором присутствовала тень Норы, предлагавшей ему какие-то изумительные предметы на большом плоском блюде из светлого металла, и предметы эти были алгоритмы, и они были живыми, слегка шевелились и взаимодействовали между собой. Витя чувствовал, что ему необходимо записать какую-то изящнейшую мысль, но чего-то не хватало, чего-то все не хватало... По длинному коридору с сияющей дырой в конце шел высокий человек и нес то самое блюдо, которое он видел в руках Норы, а на блюде лежали те самые существа, они и были теорией функций и функционального анализа. Человека звали Андрей Николаевич, и Вите необходимо было, чтобы этот Андрей Николаевич непременно его заметил, но по какому-то всем известному закону он не смел его окликнуть, а надо было ждать, чтобы тот сам его заметил. Потом была какая-то перебивка и высокий человек ушел, а блюдо с алгоритмами оказалось в руках Вити, но только все они уже были мертвые и не шевелились, и его охватил ужас...

Болеет он долго, с осложнениями, а когда пришел в университет, как раз происходило собрание, на котором исключали из комсомола студентов, сбежавших “с картошки”, вернее, “с морковки”. Судьба их была предрешена: после исключения из комсомола неизбежно следовало отчисление из университета. Вопрос Виктора Чеботарева обсуждался отдельно: справка о болезни у него была, но датирована была двумя днями позже, то есть задним числом.

С точки зрения логической, он был виновен и снисхождения не заслуживал, но с точки зрения гуманистической – действительно был болен; к тому же был еще аспект чисто

медицинский: два предшествующих выдаче справки дня могли быть инкубационным периодом болезни, когда симптомы еще не проявились, но инфекция уже делала свое злое дело в организме.

Словом, Вите, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, дали скидку в виде строгого выговора, в то время как остальные преступники были из комсомола исключены.

Пока он сидел на комсомольском собрании, он силился вспомнить, почему он вступил в комсомол. Этот факт его биографии совершенно выпал из памяти. Потом вспомнил – мать настояла. Да, Варвара Васильевна считала это необходимым. Сама была членом партии, точно знала, что есть такие вещи, где нужно быть как все и даже немножко лучше, – чтоб не нарушать законов жизни. Витя, никогда по пустякам матери не возражавший, написал заявление о приеме в комсомол в восьмом классе с той же легкостью, с которой два года спустя написал заявление в ЗАГС.

В вещах, мало его занимавших, он никакой принципиальности не выказывал. Но на этот раз он вдруг почувствовал несправедливость: их всех обманули, пообещав отпустить после того, как картошка будет выкопана. И не отпустили. Так в чем же они виноваты – что поверили? Ведь произошел обман!

– Молчи, молчи, дурак, что ты делаешь-то? – шепнул приятель, Слава Бережной. – Нам не поможешь, только себе хуже сделаешь!

Так и получилось – исключили и Витю. Он был совершенно потрясен произошедшим. Вернулся домой и лег на диван. И замолчал. Варвара Васильевна никак не могла допытаться, что же случилось, и составила свою картину происходящего, и назначила ответственной за Витино подавленное настроение Нору, свою мифическую невестку. К этому времени они уже были друг другу представлены и Варвара Васильевна раздобыла ее телефон, что для работника ЖЭКа было несложно; позвонила, но толкового ответа не получила. Решила, что Нора что-то темнит.

Через неделю приехал к ним домой однокурсник Слава Бережной и все ей объяснил. Но со Славой Витя тоже ничего обсуждать не стал и вообще весь вечер молчал. Зато Варвара Васильевна все поняла, поехала в университет, прямо в партком, поговорила с тамошним факультетским начальником по-хорошему, как коммунист с коммунистом, он по-человечески все понял: трудно одинокой женщине, солдатской вдове, сына растить... Тут Варвара немного ситуацию приподняла от неблагоприятной реальности: и не совсем она была солдатская, и не совсем вдова... Но была в ее речах и чистая правда: Витя впал в депрессию и вытаскивала Варвара Васильевна сына с помощью хорошего лекарства, на что ушло почти три месяца. Зато в комсомоле Витю восстановили, а из университета не отчислили. Слово свое замолвил и заведующий кафедрой: старый чудак хоть и испугался, но терять выдающегося студента не хотел. Так и сказал – это будущее советской математики!

Витя был оставлен в университете, получил академический отпуск, но вся эта история его глубоко травмировала. В жизни, кроме булки с колбасой на завтрак, математики и эпизодической Норы, обнаружились неопознанные прежде трудности – он их очень не хотел ни знать, ни принимать во внимание. К этим сложностям у него не было никакого иммунитета, и в дальнейшей жизни это ему часто вредило.

Но Варвара Васильевна, в отличие от сына, соображала в житейских вещах очень хорошо, не зря она в ЖЭКе работала: обзавелась хорошей справочкой в психоневрологическом диспансере, что Чеботарев Виктор Степанович подвержен

приступам депрессивного психоза, а в остальном практически здоров. И сделала она это, как потом показала жизнь, совсем не напрасно.

И все наладилось. Витя защитил диплом наилучшим образом и был оставлен в аспирантуре на кафедре и через три года приготовил к защите диссертацию по теме совершенно новой – “Вычислимые операции над множествами”. Нематематической голове этого не понять, да и не всяким математикам доступно, но на кафедральной предзащите профессор N, блестящий представитель самоновейшей, не всеми принятой “конструктивной математики”, но очень почитаемой как раз на кафедре математической логики, выступил с резкой критикой, упрекая диссертанта, что он не следует принципам этой самой “конструктивной математики”. Витя его наскоков не принял и спокойно возражал, настаивая на том, что самые что ни на есть конструктивные объекты, в том числе и его любимые алгоритмы, можно рассматривать в рамках классической логики и математики, каковые рамки приняты на всех остальных кафедрах. Началась дискуссия, в которой Витина диссертация была лишь поводом, потому что глубже научных проблем лежали отношенческие, Вите неведомые разногласия. Витя слушал эту свару и никак не мог понять, о чем они спорят – его оппоненты и защитники. Он пытался что-то произнести, но ему и слова не дали сказать – и он тихо вышел из аудитории.

На заседании кафедры еще долго спорили – предзащита не состоялась. Витя же привычным маршрутом проследовал к дивану, на котором пролежал очередные три месяца.

Варвара Васильевна тоже проследовала привычным маршрутом в психдиспансер, выписала сыночку лекарства, и он постепенно приходил в себя.

Тем временем благополучно миновал шестьдесят восьмой год. Никаких политических событий, сотрясающих социалистический мир, Витя не заметил. Его математический дружок Слава Бережной, который время от времени заходил к нему в гости поговорить про важные вещи, обнаружив совершенное политическое младенчество друга, сказал:

– Ты просто как Лузин!

Тут Витя встрепенулся, он Лузина как математика высоко ставил:

– Что ты имеешь в виду, Слава? При чем тут Лузин?

Слава пересказал Вите анекдот, который профессор Мельников на лекции рассказывал: как великий Лузин, выступая после войны на семинаре, сказал: в 17-м году произошло величайшее событие моей жизни – я начал заниматься тригонометрическими рядами...

– И что? Дальше что он сказал? – поинтересовался Витя, потому что Мельникова он тоже высоко ставил.

Слава удивился такой невинности:

– Ничего! Семнадцатый год всем людям запомнился другим событием!

– Каким? – поинтересовался Витя.

Слава махнул рукой: Витя, октябрьская революция произошла в 17-м году!

– А-а-а, понятно...

Благосклонный к Вите руководитель диссертации – он же заведующий кафедрой – спустя две недели после неудавшейся предзащиты лично сам приехал к Вите домой. Витя к этому времени управился со своей травмой и думал “в будущее”. Два частных критических замечания оппонента, разрушившего его предзащиту, касающиеся леммы 2.2 и теоремы 6.4, содержали в себе некий росток мысли, которая стала его сильно занимать. Он уже и сам разглядел некие если не дефекты, то темноты в своей диссертационной работе, забеспокоился и ринулся в самые дебри подвижных и ветвящихся множеств, далеко

выходящих за границы бедного трехмерного мира.

Заведующий кафедрой провел в приподвальной квартире у Никитских ворот два часа и ушел опечаленный тем, что ученик его покинул реальное, как он полагал, пространство математики и проскочил в ту область, где пасутся поврежденные огромной нагрузкой интеллекты. В этом состоял профессиональный риск математиков, и уже дважды в жизни профессор наблюдал такие драматические сбои. Досадно. Парень способный, может, гениальный, закончил аспирантуру, защищаться отказывается... Без работы, конечно. Без средств к существованию. Что можно для него сделать? Нет, помочь ему было невозможно.

Но в данном случае профессор отчасти ошибся. Витя полгода вгрызался в замки и шагбаумы теорем и выскочил из создавшейся ситуации совершенно неожиданным, прямо-таки чудесным путем. Сел и написал статью. После чего позвонил Норе, и она его приняла несколько рассеянно, но с радостью. Он провел у нее три дня, и даже какая-то нежность промелькнула в их отношениях. Уже уходя, Витася спросил Нору:

– Может, поженимся в самом деле? Хорошо ведь получается...

– Куда уж дальше? – засмеялась Нора. – Мы и так женаты. Вместе жить? У тебя?

– Ну, это нет, – трезво оценил положение Витя, прикинув картину совместного проживания Норы и Варвары Васильевны. – Если только у тебя...

– У меня? Нет, извини...

Нору окружали самые разнообразные люди: художники, артисты, полутеатральные и четверть-театральные, одаренные, интересные и свою интересность всячески демонстрирующие, а вот такого особенного, лишённого даже тени общей пошлости и декоративности, ни одного не было. Всем хотелось быть гениями. Но не были! На гения больше всех был похож Витася, Нора еще в школе об этом догадалась. И доказательств не требовала. Но не в доме же его держать!

Ценили Витю еще несколько друзей-математиков. Вечный друг Гриша Либер, Слава Бережной. Да и много ли друзей надо? Витя был эмоционально туповат, к разговорам на общие темы был вообще не годен, так что обречен был на дружбу исключительно математическую.

Именно Слава Бережной, изгнанный из университета по “морковному” делу, закончивший вечерний МВТУ, увлекшийся программированием в самые ранние времена, устроил его на работу в вычислительный центр, и работа эта пришлась Вите совершенно по вкусу. От теории алгоритмов до программирования было шаг шагнуть. Никогда еще занятия математикой не сулили Вите никакой практической пользы, одна восхитительная умственная игра, а теперь алгоритмы, записанные на искусственном, простом и логичном языке, приводили к решению самых разнообразных задач, собственно с математикой не связанных.

Начальство его ценило, Слава гордился Витиными успехами больше, чем своими собственными, а Витя впервые в жизни получал зарплату, которую тратил на книги по математике и на дорогие конфеты. Он был даже не сладкоежка, а настоящий гликоман – без сладкого жить не мог.

Работа оставляла достаточно времени. Он чуть-чуть отодвинулся от строго поставленной задачи написания программы, решил несколько задач, которые отчасти сам и создал, и даже написал две статьи в научный журнал. Однако одну из них, которую сам Витя считал большой удачей, вернули с отрицательным отзывом, весьма невежливым

по тону, так что он обиделся и забрал обе работы. Пережив незаслуженную обиду, подумал и послал обе статьи по почте в американский математический журнал. Только через год узнал, что их напечатали.

В то же самое время, благодаря Витиной топорной честности, у него произошел конфликт с руководителем центра, Богдановым. Тот был, по тогдашним меркам, человек вполне приличный, но карьерист. Незадолго до того он уже получил какую-то тайную награду от правительства – часть работ ВЦ была закрытой, по военной тематике, а теперь отлаживалась эта самая новая программа, которая должна была оставить запад в полной заднице. То есть не догнать, а перегнать...

Богданов номинально числился руководителем проекта, но никакого участия в разработках не принимал. И не мог принимать, потому что в программировании мало что понимал. Он вообще был из партийных, а не из ученых, и компенсировал недостаток научного уровня тем, что постоянно ставил свою фамилию в авторские коллективы.

Работали пятеро, старшим был Витася, младшим – студент-дипломник из физтеха, Амаяк Саргсян. С отличной, надо сказать, головой.

Витя многого не знал об административном устройстве ВЦ. Сам компьютер представлял собой солидное здание. Оно было набито перфокартами и девушками, перекладывавшими их с места на место, так что вычисление включало в себя еще и энергетические затраты цокающих между этажами сотрудниц на высоких каблуках. О существовании еще одного уровня, невидимого, связанного с отношениями между людьми, Витя не подозревал. Словом, в какой-то момент, когда программу должны были отправить на отзыв наверх, Витя обратил внимание, что фамилия Богданова, ничего не вложившего в программу, стоит первой в списке авторов, а фамилия толкового студента, который сильно Витасе помог, особенно в отладке программы, вообще отсутствует.

Витя пошел на прием к Богданову. Возможно, начни он разговор более дипломатично, дело закончилось бы иначе. Но Витя начал с того, что считает несправедливым, что Богданов поставил свою фамилию на первое место в списке авторов, в то время как он имеет отдаленное представление о достоинствах и недостатках программы, а Саргсян принимал участие в разработке и много в работу реально вложил, а имя его отсутствует по неведомой причине. Богданов сухо ответил, что разберется.

После этого разговора Витя больше не смог к нему попасть. Он безрезультатно ходил и ходил на еженедельные приемы, пока ему секретарша не шепнула, чтоб ходить перестал – проку не будет. Вот тогда-то Витя прорвался в кабинет и устроил форменный скандал. Даже что-то прокричал про государственные интересы, которых начальник не принимает во внимание! Бедный Амаяк был немедленно изгнан из ВЦ. Ему не дали защитить диплом, а написать новый он, будучи человеком исключительно обстоятельным и добросовестным, не успел. Витина жажда справедливости принесла бедному Амаяку многие бедствия, но укрепила веру в человека.

Через полтора месяца и сам Витя оказался без работы. Он находился в глубоком недоумении и унынии. И не столько из-за того, что его фамилия тоже была исключена из списка авторов программы, сколько по причине абсолютного непонимания всей этой хищной и жестокой операции.

Витя бессловесно лежал на диване, новую работу искать не собирался, а на вопросы матери едва отвечал. Варвара Васильевна, все еще продолжавшая надеяться, что сын ее гений, усомнилась в том старичке-психиатре, который незадолго до своей смерти предрек

Витеньке какое-то особое, выдающееся положение. Так где, где оно?

Витя о своей особой одаренности никогда не задумывался. Уволенный из Вычислительного Центра, он по инерции продолжал придумывать программы. Прележав некоторое время на диване, сообразил, что программу можно улучшить. И он занялся работой, которую даже предъявить кому-то было уже невозможно. Но такова была его собственная программа, на которую был настроен его организм: мозг его не умел жить без интеллектуальной работы, как у нормальных людей тело не умеет жить без пищи. Он рад бы был заняться чем-то другим, но другого не умел. Заползал все глубже в бессонную депрессию, пока Варвара Васильевна не сообразила, что пора показать его врачам. Это была та же самая западня, что и перед защитой злополучной кандидатской диссертации.

Стояла холодная дождливая весна, похожая на осень. Тенгиз уехал, как всегда, навсегда. Нора собралась начать новую жизнь. Позвонила Витасе и пригласила прийти. Он пришел. Пока ел сосиски, рассказал Норе, какой оказался подонок его начальник. Объяснял, чем хорошая программа отличается от плохой. Нора его немного послушала и перевела стрелку в сторону спальни.

Витася честно и серьезно выполнил возложенное на него дело. И новая жизнь началась: для Норы – беременностью, для Витаси – погружением в депрессию.

Юрик родился в начале семьдесят пятого.

Глава 9

Смотрины (1975–1976)

Андрей Иванович проболел тяжелым воспалением легких всю осень, до начала зимы, и Амалия Александровна просидела с ним безотлучно до полного выздоровления. Так получилось, что первым родственником, который посетил нового мальчика, был Генрих. Он пришел со своей женой, добродушной и говорливой Иришкой, с подарками и гостинцами. Имячко ей родители выбрали самое для нее неподходящее. В представлении Норы имя Ирина должно было принадлежать женщине тонкой, стройной, острой, а эта была такая распущенная медведица, с расплывчатым носом и мягким подборуем вместо подбородка. Ей бы быть Домной или Хавроньей, так считала Нора...

Но подарки на этот раз были дельные – подвесные качели и большой, милый своим уродством медведь, слегка напоминающий саму Иришку. Юрик, кстати сказать, очень медведя полюбил и спустя два года стал называть его “дугмидедь”, и это было одно из его первых слов.

Обычно отец дарил Норе какие-то исключительные по ненужности вещи – то коробку с формочками для выпекания печенья разных фасонов, то набор ножей такого размера, что пригодиться они могли лишь рыночному мяснику, а однажды ни с того ни с сего подарил дорогую меховую шапку из чернубурой лисы, которую Нора немедленно снесла в театр.

Еда, принесенная отцом из кулинарии ресторана “Прага”, была привычно-вкусная. Бабушка Маруся и сама лакомилась в этой кулинарии, и внучку угощала паштетом в круглом воловане или заливной рыбой, просвечивающей из-под прозрачного желе как из-под льда. Иришке очень хотелось потискать малыша, но под охлаждающим взглядом Норы отдернула руки, только издали поагукала. Юрик посмотрел на нее с удивлением, а Нора обрадовалась: “Свой парень! Все понимает!”

Генрих не посягал на прикосновения, но рассматривал младенца вполне положительно, с вниманием:

– А он в нашу породу пошел, голова круглая, уши большие... И не губастый, собранный ротик-то!

Нора с некоторым огорчением вынуждена была согласиться. Какие-то Генриховы черты и впрямь проглядывали.

Амалия приехала спустя полтора месяца, конечно, с Андреем Ивановичем. С порога, еще не сняв пальто, она обхватила Нору и немедленно заплакала. Сильно, с детскими слезами:

– Прости, доченька! Прости! Не могли раньше выбраться! Но ты же все понимаешь, умница моя!

Нора понимала. С тех самых пор, как появился Андрей Иванович, она все понимала, хотя лет ей было тогда едва-едва десять. Когда он впервые пришел в дом, показалось, что лицо его знакомо. Она заметила его, когда он стоял на Никитском бульваре и поглядывал на них с мамой во время прогулок, или когда отвозил ее с приступом аппендицита в Филатовскую больницу, или когда встречал их с мамой, выходящих из театра, и шел, как тень, позади, чтобы провести с любимой Малечкой двадцать призрачных минут –

мать только изредка оглядывалась и улыбалась: и ради этого он выбирался из дому, наврав что-то жене, и мчался к окончанию спектакля... Какой еще влюбленный на такое способен?

Нора подросла и пережила множество чувств по отношению к этому строгому, поджарому человеку – ревность, глухое раздражение, восхищение, смутную влюбленность... Он стоял позади матери в своей всегдашней позе защитника, готового немедленно вступить, отбить любое нападение, разметать всех обидчиков. Даже обнимая мать, Нора не могла отделаться от ощущения измены, совершенной матерью по отношению к ней, единственной дочери. Амалия так сильно полюбила своего Андрея, что наносила ущерб другой любви – к дочери.

И вот теперь плачет. Значит, понимает... Нехорошо: ни в последние недели Нориной беременности, ни на роды, ни даже в те первые дни, когда ребенка принесли в дом, не появилась. Этот никогда не предъявленный счет Нора держала в голове, поглаживая мать по драповой спине. Андрей Иванович стоял позади, виноватый. Он во все время своей болезни много раз гнал свою Малечку в Москву, но она никак не хотела оставить его одного, больного, в деревне... И теперь мать капала на Нору слезами, а Нора гладила ее по вязаной шапке и жалела, и завидовала, и наполнялась чувством превосходства, потому что сама она не такая – уж плакать бы не стала...

Нора помогла матери расстегнуть пальто, но Андрей Иванович ринулся, схватил пальто, щелкнул пряжками ее ботинок, присев на корточки, подsunул ей под ноги домашние тапки. Амалия тем временем машинально приглаживала редкие волосы на его склоненной макушке. Его руки скользнули вверх по икре... тайно погладили колено – заметила Нора краем глаза.

Бывали такие минуты, когда Нору словно огнем прожигало от их постоянных любовных прикосновений. Они были неприличны. Раздражала эта тяга, эта неувядающая страсть немолодых людей.

“Это во мне говорит зависть, – осекла себя Нора. – Стыдно”.

Нора была беспощадна ко всем – и к себе тоже.

Мать тыльной стороной ладони вытерла со щек слезы:

– Ну, давай, показывай внука!

Нора распахнула дверь: с порога видна была белая кроватка и младенец, лежащий на пузе, лицом к входящим.

– Гос-споди! – выдохнула Амалия. – Какой же красавец!

И ловко вытащила его из кроватки, прижала, начала шумно обнюхивать, похлопывать по спинке.

– Сладкий какой! Нора! Кончишь кормить, мы его к себе заберем! Да, Андрей? А что? Воздух чистый, молоко козье, ягоды лесные, новые яблони стали плодоносить... – начала она радостно, уверенно, а потом замедлилась, ожидая Нориной реакции. – Вот, до внуков дожили, Андрюшенька!

Андрей Иванович был человеком немногословным, к тому же и заика. Не заикался он только с любимой Амалией. Она протянула мужу малыша, и он взял его на одну руку, второй обнял жену.

Да они же не старые еще. А выглядят вообще на сорок... Станный, странный человек, привлекательный очень, мужской такой мужчина, и краснеет, маму-то понять можно, да, парочка... Как их бросило друг к другу. Прямо как меня к Тенгизу. Только Тенгиз не Андрей, из другого теста. Этот моложавый, светловолосый, и седина незаметна. А Тенгиз поседел

рано и стареет рано. Андрей Иванович, пожалуй, выглядит моложе Тенгиза, хотя лет на двадцать старше. И оба из деревни, на земле выросли.

Они стояли втроем, как скульптурная композиция, – мама, Андрей и малыш, к которому оба обращены. А ведь, пожалуй, можно, действительно можно будет малыша к ним на лето отправлять, когда подрастет...

Впервые Нора допустила такую мысль – оставить сына на маму. Тут же вспомнила то, о чем давно забыла: какой же она была веселой и легкой подружкой Норе в детстве – смешливая, подвижная, все девчонки завидовали. Мама была лучшей из всех подружек. Позднее, конечно, уже бабушка Маруся, но в другом роде... Хотя мальчику больше нужен мужчина... И Андрей Иванович – тот самый мужчина, который нужен: солдат, лесник, все умеет руками, хоть избу поставить, хоть колодец вырыть... Ну да, мальчику нужен отец. Или хоть какой-то мужчина в доме... Ну, не Витася же, в конце концов...

Позднее, когда они ушли, Нора сделала карандашный набросок. Хорошо получилось. Пока рисовала их по памяти, сообразила, что когда они познакомились, были совсем молодые, немного старше, чем Нора сейчас. Тридцать восемь? Тридцать девять? Могли бы и своего ребенка завести. Что-то там не сошлось – сначала Амалия долго взвешивала, каково это рожать без мужа, а он долго развестись не мог, все ждал, пока дети вырастут. А дети выросли, видеть его после развода не захотели, измену не простили... Да, пожалуй, сейчас они за Юрика ухватятся. И Нора испытала ревность: своего не отдам. И опять себя окоротила – собственническое чувство, нехорошо, Нора. И ребенку надо, чтобы его много людей любило. Пусть любят.

Знакомство Юрика с полным кругом ближайших родственников закончилось к году. На первую встречу с сыном Витя собирался долго. К этому времени Витя привык к интересному факту, что Нора родила ребенка и ребенок этот его сын. Вите трудно было принять этот факт. Дело было отчасти в том, что пока их ребенок превращался из комка клеток в диск, вытягивался, отрачивая новые ткани и зачатки органов, сам Виктор погружался в депрессию. Когда Норин живот приобрел убедительность, она пригласила мужа, чтобы оповестить о скором появлении ребенка. Витя отнесся к этому сообщению с большим внутренним протестом – категорически и бесповоротно против. Собственная жизнь представлялась ему навязанной и мучительной и производить на свет еще одно страдающее существо, подобное ему самому, он не желал. К тому же у него была и моральная претензия к Норе: как она могла решиться на такой шаг, его не предупредив! Он был прав, но она совершенно не собиралась рассматривать всерьез его претензии. Она спасалась от своего любовного недуга, к тому же и бесплодного в биологическом смысле, – рождение ребенка представлялось ей самым разумным выходом, а Витася в расчет не принимался. Она и не рассчитывала на него как на полноценного отца... Производитель.

Витя был оскорблен. Пожалуй, это была самая сильная из Витиных эмоций за все время их пунктирного общения. Весь тот год выдался для Вити очень тяжелым. Он провел три месяца в психиатрической клинике. Его там подлечили, вышел он еще менее общительным, сильно располневшим, но, как считали врачи, острый период миновал.

Звонок Норы, приглашавшей его на день рождения сына, застал его врасплох, и он так растерялся, что сообщил об этом матери. Варвара Васильевна, с ее сложными и вполне отрицательными чувствами к “этой так называемой жене”, сразу же создала свою версию: Нора родила ребенка от другого мужчины, а от Вити хочет теперь алиментов. Тем не менее она выразила желание пойти с Витей посмотреть на “так называемого внука”.

Вите гипотеза матери не подходила, но на первую встречу с Юриком они пошли вместе.

Сам он лгать не умел, его нетривиальный умственный аппарат, во многих отношениях превосходивший возможности обыкновенных людей, некоторых простых вещей не воспринимал – ни лжи, ни хитрости, ни корысти.

К визиту мужа и свекрови Нора готовилась: вымыла полы в квартире, купила торт “Прага”, Витасин любимый, надела на Юрика бархатные штаны, выкроенные из собственных старых. Варвара Васильевна долго колебалась, стоит ли ехать на эти смотрины, хорошо это будет для Вити или худо. Разбросала пасьянс на “да” и “нет” – и он сошелся. Карты сказали – ехать!

Нора была предупреждена, что Витя приедет с матерью, ничего хорошего не ожидала, но считала, что визит этот сам по себе означает большую победу ее безразличия над многолетней ненавистью бедной Варвары.

Пришли родственники с часовым опозданием. Юрик стоял в дверях детской и слегка покачивался, намереваясь двинуться в сторону гостей. Витася загоразживал весь дверной проем, так что Варвара Васильевна едва выглядывала сбоку. Вид Вити Нору поразил: бледное малоподвижное лицо, нездоровая полнота, скованность... Острая жалость поднялась в душе: бедный, да он совсем больной... Ужасно... Неужели я и в этом виновата? Она, как и бедная Варвара, тоже много лет отмахивалась от мысли, что Витася болен психически. Но теперь это было очевидным.

– Давай знакомиться, – медленно сказал Витася и протянул большую пухлую руку. Юрик заплакал – он никогда еще не видел таких огромных рук и таких огромных людей. Витася испугался не меньше Юрика и попятился. Варвара пришла на помощь – протянула Юрику красную пожарную машину. Нора еще не покупала ему никаких машинок, эта была в его жизни первая, и такая прекрасная. Нора про себя изумилась – не ожидала от свекрови такого блестящего во всех отношениях выбора.

Юрик сразу же утешился. Он вцепился в машинку, постучал ею об пол и очень быстро обнаружил прекрасные металлические колесики. Покрутил их, попытался засунуть в рот. Варвара встрепенулась:

– Нора, он в рот тянет!

– Ничего, ничего, – успокоила ее Нора, – у него зубы режутся. Он десны все время чешет. Пусть он пока привыкнет к вам, потом сам придет. Чай? Кофе?

Варвара исподволь оглядывала квартиру невестки. Жилье показалось ей грязным, но вполне культурным. Видела за все эти годы Варвара свою невестку раза два-три и у нее сложилось такое мнение, что она из бедных. Но теперь она поняла, что семья-то у нее скорее господская. Эту меточку она всегда ставила – из простых или из господских... Чай был подан не в кухне, а в комнате, напоминающей столовую, с небольшим овальным столом и закрытым буфетом. Настоящий, не чешский. Чашки фарфоровые старинные, ложечки серебряные, торт перемещен из картонной коробки на круглое блюдо, а сбоку лежала специальная лопаточка. Малыш лупил в соседней комнате машинкой по полу и урчал от удовольствия.

Пили и ели. Нора положила на тарелку Вите второй кусок торта. Он безучастно, но довольно быстро съел второй кусок. Нора взяла Юрика за руку и подвела к столу. Мальчик с опаской посмотрел на Витю, но тот уже не обращал на него никакого внимания. Варвара нервничала – все было неправильно. Не надо было ей сюда приходить. И Витю не надо было пускать. Но у нее была надежда, что малыш как-то прорвет Витино тягостное безразличие.

Напрасно, напрасно!

Едва ли не в первый раз в жизни Нора думала то же самое, что и свекровь. Как же он изменился! Он, конечно, гений, но гений больной. И это надо признать. Какая может быть гарантия, что унаследует малыш от отца его гениальность, а не его болезнь? Или и то и другое одновременно? Но что было делать: с Тенгизом-то не получалось, а с Витасей – сразу же, без длительных тренировок. Витя доедал торт. Юрик к этому времени заинтересовался Витиным ботинком и пытался наехать на него машинкой. Варвара отодвинула блюдо с тортом от сына. Он не понял намека.

Варвара засобиралась, поблагодарила Нору, похвалила младенца:

– Хороший малыш.

Уже спускаясь по лестнице, она повторила, на этот раз сыну:

– Хороший малыш. Жаль, что не наш.

– В каком смысле? – попросил уточнить Витя.

– Ну, хороший малыш у Норы, но это не твой ребенок.

После длинной паузы Витя ответил:

– Какая разница, мама?

Варвара остановилась от изумления:

– То есть как это – какая разница?

– Теоретически – для меня это не имеет значения. Практически – есть какие-то методы определения отцовства.

И больше Витя ни слова не произнес до самого дома. А войдя в дом, сказал всего три слова:

– Торт был хороший.

Глава 10

Фребеличка (1907–1910)

Маруся назад не оглядывалась, полностью забыла те унылые два года, что просидела в часовой мастерской возле отца, в хаотическом чтении и тоске, в ожидании настоящей жизни, которая все не начиналась. И, наконец, началась. Теперь она вставала рано, совершала свой гигиенический туалет, на швейцарский манер, холодной водой, надевала рабочее платье, нечто вроде униформы медицинской сестры, которую носили все служащие детского сада для детей бедных наемных работниц, и бежала на работу... Создали и содержали этот дневной приют прекрасные, по большей части, немолодые дамы, жены или дочери богатых эксплуататоров этих бедных работниц. Инспектором этого приюта была мадам Леру, посланная Господом Богом для призрения пролетарских детей и выправления Марусиной судьбы. Маруся действительно бегом бежала, потому что детей приводили к семи часам утра, а ей надо было их встретить. И еще – потому что в час дня она заканчивала занятия по пению в младшей группе, обедала в маленькой столовой для служащих супом с хлебом и бежала дальше – на занятия, на Высшие Фребелевские курсы.

Приняли ее исключительно благодаря содействию мадам Леру, Жаклины Осиповны, как называли швейцарку сослуживцы. Она была значительным лицом, присланным от Фребелевского Общества для налаживания дел в Киеве, пять лет уже трудилась без устали и достигла всяческого уважения от губернского начальства и их жен. Маруся сдала положенные экзамены без всякого блеска, но удовлетворительно. Большая часть слушательниц были выпускницы гимназии, и Марусе трудно было с ними конкурировать. Но никакой конкуренции на самом деле и не было – взяли практически всех желающих, способных платить за обучение. Плата была не маленькой – пятьдесят рублей за год. Брат Марк прислал ей нужную сумму. Деньги шли долго, сложным путем, по “еврейской”, как говорится, почте – какие-то друзья родственников или родственники друзей привезли деньги слишком поздно, когда Маруся уже обрыдала и бедность, и свою несчастную судьбу. Получив деньги, она в тот же день поехала к казначею Фребелевского общества, Варваре Михайловне Булгаковой, которая любезно приняла плату, хотя занятия уже начались.

Варвара Михайловна, дама понимающая, вдова, оставшаяся с семьей детьми и двумя племянниками, с ничтожным пенсионом за мужа, детям своим, среди которых был и будущий писатель, не уставала повторять – наследства я вам не оставлю, единственное, что могу дать – образование. Принять должность казначея вынудили ее не только соображения высокого порядка – развивать женское образование, – но и материальная нужда.

Теперь Маруся вовсе не завидовала ни брату Михаилу с его петербургскими успехами, ни Ивану Белоусову, изгнанному с историко-филологического факультета и отдавшегося полностью нелегальному революционному движению. От него она получала полунамеки-полупредложения следовать единственно правильному пути, но не соблазнилась. Она получила то, о чем мечтала, – возможность учиться.

Здоровье ее, всегда слабое, поправилось не в санатории, куда хотели отправить ее родители, а в невероятно напряженной жизни, которую она сама себе выбрала. Мигрени, нервные припадки, недомогания разных видов, которым она была прежде подвержена,

прошли сами собой. Вся ее дальнейшая жизнь подтвердила, что здоровье ее ухудшалось всегда, когда она оказывалась без дела, и немедленно поправлялось, как только перед ней возникали какие-нибудь грандиозные задачи вроде исправления человечества.

Занятия на Фребелевских курсах доставляли ей такое большое наслаждение, что трудности жизни казались незначительными. Многие годы спустя она вспоминала это время как счастливейшее. То хаотическое чтение, которому она предавалась до поступления на курсы, теперь оказывалось вовсе не напрасным: все ее книжные знания, полученные из замечательной энциклопедии или из чтения художественной литературы, укладывались в нужные места, в новые дисциплины. И какие дисциплины! Маруся слушала лекции каждый день – история литературы, философия, психология, дикция и декламация, и к тому же физиология, и зоология, и ботаника, и даже гимнастические упражнения для детей! И читали эти лекции лучшие профессора, имена которых всю дальнейшую жизнь Маруся произносила то с гордостью, то с ужасом, то и вовсе боялась произнести. Но ни одного не забыла...

Однако все эти знания, которые она еле успевала переваривать, не имели самостоятельной ценности, они нужны были только для того, чтобы служить большой цели – воспитания прекрасного, свободного, нового человека. Мадам Леру не бросила свою протезе – изредка звала в гости, выпрашивала ее мнение об учителях, делилась и своими планами. Несколько раз приглашала с собой в театр, в концерт, давала читать книги по педагогике, последние новинки из Швейцарии и Италии. Марусе и в голову не приходило, что мадам Леру готовит из нее помощницу.

Маруся тем временем все более увлекалась и занятиями в детском саду. Теперь она не только вела уроки пения, но и ставила со старшими детьми маленькие сценки, Жаклина Осиповна очень ее поощряла. У Маруси не оставалось сомнения, что единственным достойным занятием может быть только педагогика, а революционные идеи старшего брата Иосифа, который застрял в Сибири, не казались ей уже такими привлекательными – пороки общества исчезнут сами собой, если давать детям правильное и сообразное их способностям нравственное направление и трудовое воспитание.

Просветительская работа Ивана Белоусова была, конечно, в другом роде, общественно полезна, но ее работа с детьми тех же пролетариев, которых просвещал Иван, гораздо больше соответствовала Марусиным представлениям об общественной пользе.

Приехавший на Рождество Михаил нашел свою маленькую сестру взрослой, развитой и развившейся физически молодой женщиной и несколько растерялся: прежний шутливо-игривый тон совсем не подходил теперь, первое время даже возникла некоторая напряженность в отношениях. Он, привыкший, что сестренка слушает его как оракула, встретил в ней вдруг самостоятельность суждений и неожиданную резкость, которой прежде никогда в ней не замечалось. Он уже не был для нее кумиром, она не восхищалась больше его стихами, которые он писал теперь не для домашней забавы, а с сокрушительной серьезностью.

Она оскорбляла брата охлаждающими краткими оценками его стихов: Не Блок. Не Надсон. Даже не Брюсов. Обидно было и то, что провинциальная девочка, которую он с детства развивал, в его отсутствие, без его руководства, научилась самой главной науке – учиться.

С приездом Михаила дом оживился. Даже старый Кернс, глубоко переживавший ссылку старшего сына, от которого приходили редкие скупые письма, взбодрился. Он молчаливо

присутствовал на дружеских вечерах и веселел с приходом молодых людей. Кроме старых друзей Михаила, Ивана Белоусова и Косарковского, появились новые лица. Вместо разбитого пианино в доме появилась гитара. Неравноценная замена. Но с ней изменился и музыкальный репертуар застолий – стали больше петь. Чего только не пели – песни еврейские, песни украинские, русские романсы...

Михаил покупал билеты в театр и в филармонию Марусе, по пять билетов сразу, правда, на галерку, и это доставляло Марусе дополнительную радость, потому что она могла пригласить с собой двоюродных сестер или приятельниц. Мишина щедрость была необыкновенна, и каждый его приезд домой сопровождался теперь праздником. Пожалуй, единственное, что несколько отравляло эти праздничные приезды – возникающее каждый раз чувство завистливого раздражения: Михаил вращался в каких-то совершенно поднебесных столичных кругах и просто на крыльях летал от восторга. Маруся много лет хранила одно из его писем того периода, но предъявила ему это письмо много лет спустя, во время одной из глубоких идеологических ссор как свидетельство его тщеславия и пустозвонства...

“Хлестаков! Хлестаков!” – злилась Маруся на брата. Письмо это сохранялось в сундучке, вместе с важной перепиской, которую Маруся все собиралась разобрать, но так и не успела.

Глава 11

Письмо Михаила Кернс сестре Марии (1910)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КИЕВ

25 ноября 1910 года

8 ч. утра (вернее, ночи, ибо просыпаясь в 7 часов, я еще на два часа зажигаю лампу. За окнами – ночь.)

Мое дорогое! Маруся!

Ты пишешь мне, что с негодованием отметила факт, что я пишу чужим серьезнее и подробнее, чем тебе. Чтобы хоть в одном письме дать пищу твоей любознательности, твоим требованиям (вполне справедливым), – я начну с... описывания своей повседневной жизни (не удивляйся перемене чернил: за это время я успел пройти весь Литейный проспект, перейти через Семеновский мост (через реку Фонтанку), – пройти всю Караванную улицу и часть Невского, где я теперь сижу в конторе Т-ва “Ж. Блок” и пишу сие письмо). По моему описанию ты можешь подумать, что я сделал 5 верст, но все это занимает ровно 11–12 минут ходьбы. Мостов здесь видимо-невидимо и много грандиозных: погоди – увидишь. (Часто бывает – думаешь, что ты на широчайшей улице, а – это Троицкий или Литейный мост.) Продолжаю: до конца октября было солнце – бывали ясные дни et cetera – теперь же хоть лопни – ни одного светлого куса неба! И так будет до конца февраля. Ни одного хорошего дня! Затем – насчет дня-ночи: действительно, светает лишь к ½ 10-го утра. Ну, впрочем, – у нас зимой-то, – разве в 7 часов утра легко можно читать или писать? Темнеет здесь в 3 часа или в ½ 4-го дня. Согласись, что и у нас зимою, да еще в пасмурные дни тоже бывает! Словом, клеветают на наш Питер!

Продолжаю: встав в 7 часов утра (ночи), я зажигаю лампу и приступаю к туалету. В СПб я должен всегда бриться, ибо хочу выглядеть интересным и молодым (хотя бы для редакторов), – больше не для кого здесь!.. Потом – к 8 часам Марья подает самовар (все это при вечернем освещении). Марья – милая старая ворчунья, разговаривающая большей частью с неодушевленными предметами: с плитой, с самоваром, с лампой, с печкой, половой щеткой и т. д. Картинка из жизни. Происходит следующий монолог: Марья (нежно-ласково и сострадающим тоном): “Бедненькая! Чего не горишь? О Господи! Фитиль-то, фитиль у тебя короткий! Что же делать-то! А? Милая ты моя! Ну, ничего, я схожу-куплю тебе новый фитиль, – и будешь ты гореть, – хорошо гореть!..”

Когда швейцар зовет меня к телефону и затрудняется в произнесении фамилии, она быстро говорит: “Знаю-знаю, раз уж выговорить нельзя – стало быть наш-то!..”

Продолжаю: в 9 часов пунктуально – я в конторе. Раньше я спал до двух часов дня. Здесь работаю (веду книги, пишу стихи, рассказываю анекдоты всем служащим – их ровно 15 человек) до 5 часов дня (вечера) с маленьким перерывом из двух стаканов чая и ¼ ф. ветчины. Ровно в пять часов я иду обедать. Теперь обедаю в историческом ресторане “Капернаум”. Я думаю, что в литературе ты встречалась с этим рестораном, ибо он воспет многими нашими великими писателями. Здесь – весь литературный Петербург. (В “Веке”

только ужинают – здесь же все обедают.) Здесь в свое время бывали Достоевский, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Салтыков, Шеллер, Тургенев, – словом, долго перечислять! Здесь видишь Куприна, Потапенку, Баранцевича, Порошина, Градовского, Скабичевского, Арцыбашева – всех модернистов, всех кошкодавов, словом, всех, всех! Я бываю там ежедневно от ½ 6-го до 7 часов.

От 7 ч. я начинаю жить душою: по редакциям, лекциям (не пропускаю ни одной литературно-научной лекции, ибо – учиться надо!). В пятницу был на литерат. закрытом (не для публики – значит, а только для литераторов) собрании. Читал В. С. Лихачев около 60-ти своих стихотворений. Хорошо! Для того чтобы ознакомить тебя с кругами, в которых я теперь вращаюсь, сообщу кой о ком из новых моих знакомых, с которыми всегда и запросто беседую: Анненский (“наш” председатель), Батюшков, Овсяннико-Куликовский (тот самый), Богучарский, Венгеров, Линева (Далин) (помнишь его “Не сказки”?), Брусиловский, Андрусон, Порошин (последние трое бывают и у меня на дому), Мережковский (Дмитрий Сергеевич – умница), Лихачев, Градовский (мой покровитель и друг – в три раза старше меня, я получил от него его книгу “Две драмы” с авторской теплой надписью). От И. А. Порошина тоже, Чюмина, да, чуть не забыл: наша любимица, которой мы восхищались, – милая Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи) – теперь моя собеседница, слышавшая даже и о тебе. Я не хочу дальше перечислять всех их, ибо ты можешь треснуть от зависти.

Распускаюсь, как ароматный лопух! Свои стихи читаю только литераторам и поэтам. Для широкой массы публики читал только один раз свое “В маст. часовщика” и “Видения ночи” (новость – громадный успех, как пишут иногда на афишках). Пишу много, говорю и чувствую: около “микиток” крылья вырастают... Мои стихи приняты: в “Журн. для всех”, “Образование”, “Бодрое слово”, “Мир” и “Даль” (с-д.). Для начала недурно. Гонорар в некоторых редакциях мне дают такой же как Рославлеву и Дяде-Феде: 40 коп. за строчку. Около февраля буду миллионером, – пока же – в долгах и не знаю, выберусь ли из долгов к Новому году, ибо 50 рублей моего теперешнего жалованья – только понюхать... Тебе, Маруся, не волнуйся, деньги на оплату года обучения я добуду литературным трудом! Не все же к Марку! Да! “У зеркала” пойдет в “Театр и Искусство”. Кроме того, гастрольно работаю у Аверченки (Сатирикон). То целковый, то два – и то деньги.

Ты пишешь, что мамочка сердится, что я ей не пишу. Пусть она войдет в мое положение: я так много и сильно занят, что просто минуты нет свободной. Кроме того, ведь, когда я пишу тебе, я вижу всех вас перед собою и говорю со всеми вами. Объясни им это. Пожалуйста!

Думаю, что этим письмом ты останешься “ублагодотворена” за истекшее время.

Пиши мне тоже на тонкой бумаге и вместибельным “петитом”. Кой-когда буду марки посылать. Что у нас слышно? Мерзнут? Боже мой, как мне тяжело становится, когда я думаю о скверных делах, о морозе в комнатах, etc, etc...

В пятницу я в Обществе Литераторов и Ученых, где читает Градовский (он должен был читать в эту пятницу, но заболел, и вместо него читал Лихачев). Там всегда по пятницам.

Вообще, пятница – самый хороший у меня день, ибо в пятницу я плаваю в облаках “химических наклонностей” (как говорит милый Иван Иванович Маржецкий) и нахожусь в кругу светлой литературной семьи. Я, кажется, тебе уже сообщал о том, что получил именной билет в СПб Литературное Общество, и мне предложили баллотироваться. Я кочевряжился (для формы), а в душе пело. К Новому году буду избран – ибо мое имя печатается (так принято) и рассылается всем членам для того, не знает ли за мною каких-

либо грехов кто-нибудь. Затем меня “оглашают” на двух очередных собраниях и потом лишь приступают к закрытой баллотировке. Что-то вроде древнего феодального обычая “посвящения в рыцари”. Робею, ибо я еще, кажется, особенных “вкладов” в литературу не делал... Словом, грядущее безоблачно и голубо! (Кажется, никто еще этого слова не говорил: “голубо!”.) Люблю новые слова: “быстрееет”, “близнь”, “итаксигрансталь”, “покомопсткжопактотепепль...”. Люблю “звучный и нечистый дух...”. Словом, я – модернист. (У меня есть драматическое стихотворение “Я модернист”, за которое я бы себя выпорол.) На всякий случай я тебе его вышлю. В пандан стихотворению “Книга”, я написал стихотворение “Газета”. Оно пойдет. Где – не знаю, ибо это нужно хорошенько обдумать. Знаю только, что ни одна газета его бы не поместила.

Что Мама? Неужели она и теперь возится с печкой? Это меня сильно огорчает! Вы все не можете себе представить, как сильно мне хочется, чтобы вы зажили хорошо, тепло, беззаботно! Ой, как нужно мне сделаться корифеем! Не для славы, так для денег! Все равно! Есть у меня стихотворение: “Гастроному”. Тебе необходимо его прочесть. Увидишь, сколько там правды! Пойди к пани Nelli, кланяйся ей, поцелуй Аню-Асю-Басю-Мусю-Дусю-Верусю и всех наших кузин, которые не рифмуются. Кланяйся Буме. Не забудь. Отчего не ответила? Не помню, я, кажется, писал ей. Передай пока Nelli, что я очень сдружился с польским литератором А. Немоевским. Читала она его? Скажи, что один господин, который сидел у нас в Правлении в течение трех дней ни с кем не говоря ни слова (я принял его за англичанина), оказался поляком, и когда я с ним заговорил по-польски, он чуть не бросился меня целовать (наш варшавский агент) и не хотел от меня отойти ни на шаг. Здесь я не стесняюсь и говорю по-польски, как природный... турок! Ошибок, конечно, масса!

Нужно еще много писать, но на сегодня хватит! У меня все – крайности!

В случае, ежели что... пиши “до востребования” или Т-ву “Ж. Блок” Невский, 62. мне.

Получаю несколько газет и журналов. Покупаю книжки...

Здесь много голубых глаз – но все они моей душе немилы...

На твое письмо ушло 4 часа. Больше не в силах! Будет!

Глава 12

Особенный Юрик. Йеху и гуингнымы (1976–1981)

Прошло не меньше года с рождения ребенка, прежде чем Нора поняла, какие глубокие перемены произошли в ней самой. Кроме вещей общепонятных, банальных, – что с появлением Юрика она оказалась в пожизненном рабстве, в глубокой физиологической зависимости от того, голоден, здоров, в хорошем ли настроении ее ребенок, – обнаружила, что восприятие мира стало как будто двойным, приобрело стереоскопический эффект: приятное дуновение ветра из окна стало одновременно пугающим и тревожным, потому что Юрик заворочался в кроватке от воздушного потока возле лица; стук молотка из верхней квартиры, который прежде она почти и не заметила бы, воспринимался болезненно, и она отзывалась на эти удары глубиной тела, точно так же, как младенец; привычно горячая еда стала обжигать, тугая резинка от носков раздражала и множество других вещей как будто стали измеряться двумя разными термометрами – взрослым и детским.

Привычка к постоянному анализу так быстро укоренилась, что она немного испугалась за самое себя: не ожидала, что материнство меняет до глубины всю биохимию, и надеялась, что после того, как перестанет кормить, ее привычный мир восстановится. Но этого не происходило. Напротив, она как будто вместе с младенцем проходила освоение мягкого, жесткого, горячего, острого, смотрела на ветку дерева, игрушку, на любой предмет с первозданным любопытством. Как и он, рвала газетный лист, вслушиваясь в шорох разрываемой бумаги, лизала его игрушки, ощущая, что пластмассовая уточка приятнее на язык, чем резиновый котик, а однажды поймала себя на том, что, покормив Юрика, собрала рукой со стола жидкую манную кашу и подумала, что есть приятность в размазывании ее по столу... Юрик обрадовался, увидев это движение матери, и начал лупить ладошкой по пролитой на стол каше. Оба шлепали руками по столу. Оба были счастливы...

Нора сполна разделила изумление и восторг малыша, когда он впервые увидел падающий снег, заснеженную землю, топал валенками и рассматривал рубчатые следы галошных подошв, ловил снежинки, тянул их в рот, хотел прожевать, но они таяли, он не понимал, что происходит, тянул в рот варежку и облизывал ее. А Нора стояла возле него и пыталась смотреть вокруг его глазами: огромная собака, которая возвышается над тобой на целую голову, высоченная скамья, на которую ни влезть, ни сесть, памятник Тимирязеву – одно подножие, а невидимый глазу монумент уходит в небеса.

Вместе с сыном Нора заново переживала чувство воды – наливала полную ванну, забиралась туда вместе с малышом и наслаждалась, наблюдая, как он бьет ладошками по воде, пытается пить текущую струю, пытается ухватить и поднять воду, недоумевая, почему она проливается сквозь пальцы.

Чувствуя, как малыш с его изумительным миром уводит ее в зыбкие области, решила бросить якорь – завела себе “развнедельного” любовника, молоденького Костю, из подросших участников юношеской студии, которую она вела несколько лет тому назад. “Чистка крови” – так она называла его торопливые вечерние визиты. Витасю она для этой цели уже не приглашала, он был обижен, никак не мог ей простить наглого использования

его в биологических целях. Костя был легок, резв и почти бессловесен, ничего от Норы не требовал. Иногда даже приносил цветы. Однажды эти абстрактные гвоздики Нора поставила с вечера в вазу, а утром, проснувшись, увидела забавнейшую картину – Юрик залез на стол, вытащил цветы из вазы и, морщась, ел гвоздичную головку. Нора стащила его со стола и немедленно пожевала цветок. Было невкусно, но съедобно. То есть, если быть уверенным в том, что это еда, можно и полюбить.

Дыру, пробитую Тенгизом в ее существовании, полностью не прикрывал даже Юрик, и она залатывала ее любым пригодным для этого материалом. “Развнедельный” Костя пробоины этой не затыкал: маленький пластырь на большую рану. Лучше всего дыра конопатилась работой, она бралась за любое дело, не требующее выхода из дому.

Она купила несколько акварельных склеек по двадцать листов и каждый вечер, уложив малыша, – если не приходили всякие театральные друзья, облюбовавшие ее дом как удобный перекресток московских маршрутов, – рисовала его пальцы, ухо, спину, складочки, пыталась уловить жесты... Только одно на свете тело она знала так же подробно: голова с немного плоским затылком, круглые тонкие уши, гораздо более нежные, чем все остальное, грубые надбровья, глубоко сидящие ореховые глаза, длинные морщины вдоль щек, горбатый нос с тонкой переносицей, подобранный рот с выдвинутой вперед нижней губой, и довольно редкие зубы. Кончиками пальцев, губами она пропутешествовала по этому телу так подробно, что могла бы его слепить, – наизусть знала, как немного провисает увядающая кожа на шее и там, где громоздятся мышцы – на груди, на предплечье, какие складки образуются на животе, когда он сутуло сидит, сложив тощие ноги по-турецки. Но Тенгиз за те годы, что она вникала в него, во все изгибы его устройства, – с большими перерывами, но все глубже и глубже, – только старел, а малыш ежемесячно обрастал чудесными подробностями, он рос, из рыхлой пухлости возникали первые рельефы, подошва ноги из подушечки уплощалась, ступня становилась рабочей поверхностью, вырастали зубки, немного скученные под верхней губой, менялась форма рта...

Нора пыталась устроить свою жизнь так, чтобы освободиться от Тенгиза. Смешно сказать – от его отсутствия...

Он появился, как всегда, в тот момент, когда Норе уже стало казаться, что она с ним окончательно рассталась и смирилась с мыслью, что кино, которое с ним рядом было цветным, в его отсутствие становится черно-белым, но все равно интересным... Тут он позвонил и спросил, удобно ли будет, если он зайдет минут через пятнадцать.

– Заходи, конечно, – ответила Нора непринужденно. Больше двух лет он не появлялся...

Повесила трубку и заметалась. Звонок в дверь раздался почти сразу же, она не успела справиться с нервным ознобом, который на нее напал. Он стоял в дверях, одетый в старый пастуший полушубок, от которого всегда воняло кислой овчиной, а в руках держал медведя. Точно такого же, как тот, которого подарил Генрих. И старинный саквояж, с которым он всегда путешествовал.

– Ты меня не выгонишь? – сбрасывая полушубок, спросил Тенгиз.

Тогда Нора сказала про себя – выгоню! И одновременно вслух – заходи!

Колотун закончился: Нора поняла, что в одну минуту вошла в главное состояние своей жизни – быть рядом с Тенгизом. Это лучшее, что может быть, лучше всего ей известного – говорить с ним, сидеть за столом, спать, молчать.

– Мне одинаково сильно хочется тебя выгнать и уложить в койку. Я Козерог, Тенгиз. Для Козерога мир перестает существовать, когда он занимается любимым делом. А у меня

любимое дело – ты...

– Я тебя обожаю, Нора. А я, как выяснилось, Дракон! Нателла увлеклась астрологией, и это самое лучшее безумие, которое у нее было.

– Подожди, Дракон – из другого календаря. По китайскому я не Рыба, а Коза, кажется.

– Драконам это все равно! Они мудрые и блестящие, и им во всем везет! Как мне!

Диалог еще продолжался, но одежда уже лежала кучей возле вешалки и Нора вдыхала этот единственный в мире запах, на который были настроены все ее рецепторы, – овчина, деревенский табак и Тенгизово тело. И он шумно выдохнул, как бегун, порвавший финишную ленточку.

– Не обращай внимания, просто меня давно здесь не было.

Но он уже был здесь, и был все тот же, цельный и безущербный. Возможно ли такое точное совпадение? Вдох, выдох, пульс, группа крови, что там еще... Нора выплюнула шерсть, которая сразу же набилась в рот. Тенгиз засмеялся, снял с ее губ шерстинку. И в прошлый раз, когда он был в Москве, была зима, и полушубок верно им служил во всех непредсказуемых приключениях.

Полуторагодовалый Юрик проснулся, вылез из кровати и притопал к ним. Сразу заметил лежавшего возле двери медведя и схватил его. На Тенгиза не обратил никакого внимания. Нора, прыгая на одной ноге, влезла в вывернувшуюся брючину. Тенгиз потрянул полушубок, взметнув облако овчинного запаха, и повесил его на вешалку.

– На чем мы остановились? – спросил у Норы и вытащил из саквояжа бутылку коньяка и пригоршню мандаринов. Абхазских, с чуть увядшей кожей мандаринов.

– На этом самом месте, – засмеялась Нора. Нет, не расстались. Нисколько не расстались.

Нора взяла Юрика вместе с медведем на руки и стала одевать.

Пока Юрик знакомил своих медведей, Нора пошла на кухню.

– Ты голоден?

Тенгиз кивнул:

– Со вчерашнего дня ни крошки.

– Гречневая каша. Квашеная капуста. Больше ничего.

– Отлично.

Пока он ел – медленно, как будто нехотя, как будто не голоден, как едят все воспитанные грузины, – Нора сидела, опустив подбородок в сплетенные пальцы, и не чувствовала ничего, кроме того, что он сидит рядом с ней, молча ест, а все ее тело еще полно его присутствием и сияет от счастья.

Положил в пустую тарелку вилку и сказал:

– Вот! Начинаем, Нора, новую работу. Куклы. На этот раз будем работать с куклами. Куклы будут большие. Архитектурные. Актеры внутри. С возможностью выходить наружу! Гулливера играет живой актер.

– Подожди, подожди! Я с куклами никогда не работала! Что за пьеса? И где?

– Нора! Свифт, конечно!

– Гулливер в стране лилипутов?

– Да, только речь идет о йеху и гуингнмах! О людях, потерявших человеческий облик, и лошадях, которые выше людей! А Гулливер только инструмент для измерения этой температуры!

– А пьеса?

– Нора, какая пьеса? Нет такой пьесы!

– Но хоть текст?

– Мы сначала должны все придумать, а текст я знаю кого попросить писать, – Тенгиз был в самом лучшем своем виде, в большом рабочем возбуждении, и этот жар уже передался Норе, хотя Свифта она читала в детстве, в сокращенном и адаптированном издании и плохо помнила.

Тенгиз вытащил из саквояжа сильно потрепанную книгу – на!

Нора взвесила на руке томик Свифта, стала рассматривать – книга на русском языке, с синим библиотечным штампом с грузинскими буквами. Издания сорок седьмого года.

– Украл в библиотеке?

– Для дела взял!

– Мне надо перечитать.

– Садись и читай.

– Юрика надо выгулять, хоть часик. Пока не совсем стемнело.

– Какой вопрос! Одевай мальчика, я погуляю, а ты читай, читай!

Пока Нора Юрика одевала, немного поскандалили, потому что он хотел взять на прогулку обоих медведей, а Нора пыталась их отобрать и совала лопатку.

– Какая проблема! Вместе с мишками идем! Малчик! – с грузинским твердым “Л” произнес Тенгиз решительно. – Пойдем гулять!

Нора была совершенно уверена, что Юрик не пойдет с Тенгизом. Но он пошел! Тенгиз на ходу натягивал полушубок, Юрик прижимал к себе своих плюшевых зверей. Нора смотрела им вслед, как они топали к лифту на пол-пролета вниз, и испытывала небывалую душевную смуту – вот двое мужчин, главных мужчин ее жизни соединились, но невозможно сделать так, чтобы это длилось больше, чем часовая прогулка по Никитскому бульвару...

Вечером, уложив Юрика, продолжили разговор.

– Ну, хорошо, предположим... Почему в куклах? Кукольные театры у нас все детские, для кого мы спектакль делаем? И второе, о чем ты ни слова не сказал, – где ставим?

Тенгиз отмахнулся:

– Почему детские? Откуда ты взяла? Ты же все знаешь! В семнадцатом веке, уже после Шекспира, английский парламент запретил драматический театр. Билл, эдикт, не помню точно. Было такое дело, да? И что? Тогда расцвел кукольный! Играли на площадях, на рынках! Это же высший класс! Ничего детского! Ну, говори, какие возражения? Смотри, этот йеху, люмпен, хам, и рядом благородное животное, лошадь! Ты верхом-то когда-нибудь ездила? Вообще, лошадей знаешь? А театр хороший! Как всегда, провинциальный. Алтай! Предложение есть. Договор еще не подписан. Вот обсудим с тобой и я туда полечу... И вообще, должен тебе сказать, сейчас самое интересное именно в кукольных театрах происходит. Там свобода... Ну, кукольная, конечно...

Нора помотала головой. Тенгиз ждал от нее возражений, это была их всегдашняя забава – именно на ее вопросах он строил свои режиссерские ответы. И лучше нее никто не умел это делать.

– Не знаю я лошадей. Мы не держали лошадей. Мы даже кошек не держали! У нас аллергия... И кукольного театра я не знаю. Мне надо книгу дочитать. Я так не могу, из воздуха.

Чтение Нора закончила под утро. Она читала быстро, но самую глубину ночи провела без Свифта – Тенгиз обнял, сказал:

– Ты читай, читай, не отвлекайся!

Но они отвлеклись. Потом проснулся Юрик, он плакал. Норе показалось, что у него поднялась температура, но он быстро заснул и лечение было отложено до утра.

Мужчины спали долго. Нора закрыла Свифта. Там было так много всего, что требовало размышления. Сварила овсянку и упрятала кастрюльку под подушку. Взяла мягкий карандаш и нарисовала лошадь. Первую лошадь в жизни... И все думала, чем же гуингнмы отличаются от лошадей... а йеху от людей. Проснулся Юрик – совершенно здоровый. Съели кашу. Нора сказала “да”.

Тенгиз, получив согласие Норы, улетел на Алтай подписать договор и обсудить детали. Главным режиссером театра был его однокурсник по школе-студии МХАТ, где он два года проучился в незапамятные годы... Все складывалось отлично. Через три дня вернулся счастливый – нашел там актера, как он говорил, гениального.

Началось самое счастливое время Нориной жизни – втроем, с Юриком и Тенгизом.

Постановка рождалась из обсуждения почеркушек, из споров о самом здесь существенном – границе, где человек становится животным, животное – человеком, и в чем, собственно, заключается это различие и как оно пластически может выражаться... При более внимательном прочтении книги Нора пришла к заключению, что общество гуингнмов не бог весть как хорошо – они туповаты, ограничены и вообще довольно скучная скотинка... Тут Нора опечалилась, потому что размышления об обществе лошадином и человеческом как-то не укладывались в язык кукольного театра. Но это спустя какое-то время само собой уложилось. Тенгиз несколько утешил ее: нам для работы достаточно высказывания Гулливера-Свифта о человечестве – “Не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывает к себе такое отвращение”.

– Чтобы работать с этим материалом, следует отодвинуть подальше нашу догадку, что благородные гуингнмы туповаты в эмоциональном отношении, они не знают любви и дружбы, страха, печали, а гнев и ненависть испытывают только к йеху, которые в их мире занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии.

Нора такое условие приняла. Границы определились. Тенгиз с Норой поехали в одноэтажный полуразваленный дом в Мансуровском переулке, у Кропоткинского метро, к пожилой драматургессе, вдове авангардного режиссера, погибшего еще до войны от счастливого несчастного случая, избавившего его от ареста. Вдова, истертая жизнью бабочка Серебряного века, налила им жидкого чая, обласкала, одарила роскошью глубокого сочувствия и симпатии и мгновенно поняла, что им нужно. Текст она написала за неделю, он был удачный, в ходе репетиций совсем немного пришлось его поформовать... А вот гонорар от театра получить она так и не успела – пока театр заключал договор, проводил через министерство культуры заявку, она успела умереть.

Нора работала добросовестно – решила для начала пообщаться с живой природой, пошла с Юриком в зоопарк, посмотреть на всяких копытных. Юрика же больше всего интересовали воробьи и голуби, являющиеся не экспонатами, а скорее обслуживающим персоналом. И даже сам слон не произвел на него никакого впечатления. Слона, по несоответствию масштабов, он просто не заметил. Нора сделала несколько набросков в блокнотике и поняла, что идет по ложному пути. Отвергнув идею изучения натуры, погрузилась в изобразительное искусство. Сидела в библиотеках, изучала всяких нарисованных лошадей. В библиотеку ВТО ее пускали с Юриком – с тамошними сотрудницами она почти два десятилетия состояла в дружеских отношениях. Для походов

в другие библиотеки приходилось вызывать Таисию. Иногда Юрика перехватывала Наташа Власова, приводила его к себе домой и отдавала на попечение Феди, который замечательно развлекал малыша.

Вскоре Нора точно знала, какие лошади ей нужны. И какие йеху!

Тенгиз, уезжавший в Тбилиси устраивать какие-то домашние дела, вернулся и с порога заявил, что через неделю начинают репетиции.

Нора положила перед ним стопку бумаги. Он взял в руки верхний лист. Гулливер был изображен сбоку листа, наблюдателем, а в центре – две сквозистые лошади, собранные как будто из металлических планок детского конструктора, свинченные грубыми шайбами, суставчатые, на шарнирах, с полым брюхом, в котором помещалась площадка для актера. Морды у них были несколько человекообразные, улыбающиеся, с обнаженными зубами – но страшноватые.

– Ты гений, Нора! Ты все сделала.

На втором листе Гулливер выбирался из домика с кольцом на крыше, протискиваясь через откидную дверь. Вокруг бесновались лохматые существа с дикими, но определенно человеческими мордами. Все они были закреплены на одной сетке.

– Отлично, – одобрил Тенгиз. – Толпа.

И взял следующий лист.

Он сидел, она стояла перед ним, и они были почти одного роста. Он поскреб пальцами серую щетину на щеке, пощелкал губами, поморщился и сказал с оттенком грусти:

– Ты так все придумала, что дальше уже можно и без меня!

– Без меня, Тенгиз, без меня!

– Как это?

– Я не могу с тобой ехать. Юрика не на кого оставить.

– Да кто же его оставит? Мы с мальчиком едем. Я двухкомнатную квартиру снял. Трехкомнатной во всем городе не нашли. Большая. Поместимся.

Нора покачала головой: нет, не поеду.

– Ты с ума сошла! Я не могу без тебя работать! Я знаю! Я пробовал! Как ты можешь меня бросить? Мы летим все вместе, через три дня, и мальчик с нами. Билеты нам уже куплены.

Тут пришлепал Юрик и полез на руки к Тенгизу. Нора поняла, что поедет. И полетит, и поползет. Куда угодно. На Алтай. На Колыму. К черту на рога...

– Гулять пойдем? – спросил Тенгиз. Юрик побежал к себе в комнату и притащил оттуда двух мишек.

– А что там с мастерскими? Здесь конструкция довольно сложная, меня консультировал лучший московский кукольник, это не всякий мастер построит.

– Там какой-то военный завод закрыли. У них два таких мастера в цеху, они тебе не то что лошадь, ракету соберут!

Потом приехала Амалия. Сказала, что заберет Юрика в Приокский заповедник. Чистый воздух, молоко козье, овощи деревенские... И Андрей Иваныч считает, что тащить ребенка в такую даль будет ошибкой...

Про Андрея Ивановича и про ошибку она напомнила напрасно. На этом самом месте не однажды происходило возгорание.

– Мама, позволь мне делать мои ошибки. Если б я их не делала, то была бы не я, а ты.

– Да пожалей ты ребенка! В кого ты такая... жесткая? – вопрос был риторический и не предполагал ответа, но ответ последовал:

– В тебя.

Тут Амалия заплакала, а Нора расстроилась: могла бы промолчать! Нора обняла мать, зашептала в ухо: Малечка, прости, больше не буду, а ты не приставай ко мне... Не руководи, пожалуйста...

И расстались они в мире. И стало даже лучше, чем раньше: обе чувствовали себя виноватыми.

Потом начался самый счастливый кусок жизни – в провинциальном алтайском городе, с большой рекой, с праздничной работой. Нора обнаружила, что кукольники – особая порода актеров, не очень далеко ушедшие от балагана, от народного праздника. Таких занятных, самоигральных ребят в драматическом не сыщешь! Директор театра, бывшая партийная начальница, оказалась замечательной женщиной, невиданно замечательной, за что ее потом и сняли с работы, к счастью, не за “Гулливера”, а за следующий... За “Гулливера” она всего лишь получила выговор.

Для Юрика это алтайское время тоже оказалось очень важным – запаздывающий в речи, именно здесь он начал говорить, заговорил сразу сложными предложениями и страшно забавно. И, как выяснилось много лет спустя, именно здесь пробудилась его необыкновенная память: его самые ранние воспоминания относятся к театру, к театральным цехам и к Тенгизу, которого он назначил отцом.

Премьера состоялась пятнадцатого сентября. В тот день утром Тенгиз получил телеграмму, что умерла его мать. Спектакль отыграли, и он улетел. Премьера прошла прекрасно. Публика была в восторге, но Тенгиз на поклон не вышел – он уже летел на хлипком местном самолете в большой город Новосибирск, а оттуда через Москву в Тбилиси.

Нора с ним едва успела попрощаться. Она просидела в театре еще три дня, успела даже прочитать в местной газете восхитительно разгромную рецензию заместителя местного отдела культуры товарища – умри, лучше не придумаешь! – Полукоржикова, который усмотрел в спектакле “буржуазный авангардизм и пикассизм”! Вторая критическая статья отмечала существенное: “Откуда такое неуважение к человеку? Уж не хочет ли автор постановки показать, что люди хуже животных? Не поклеп ли это на советского человека?”

Нора с Юриком вернулась в Москву во второй половине сентября. Весь июль и август шли дожди, а в виде компенсации выдали настоящее “бабье лето”. Тенгиз не звонил. Он говорил между прочим, что собирается осенью во Вроцлав, в лабораторию Ежи Гротовского. Польша была самой свободной из социалистических стран, а Грузия – самой свободной из советских республик, и он уже получил принципиальное разрешение от министерства на эту поездку. Никаких писем от Тенгиза ни про Гротовского, ни про кого другого не было. И Норе пришлось заново переживать окончательное расставание. Но на этот раз оно шло мягче, чем в прошлый раз. Может, Юрик смягчал?

Втроем они прожили полгода, самые счастливые полгода ее жизни, дальше пошла другая жизнь, к которой надо было опять привыкать и опять затыкать свистящую дыру Тенгизова отсутствия.

Снова началась жизнь без Тенгиза. Но теперь было ощущение, что он еще появится, войдет со своим саквояжем, в полушубке, или в свитере-самовязке, или в растянутой майке, и снова будет праздник...

Таисия, которая так и осталась помощницей “по вызову” и почти членом семьи, считала, что мальчик отстает в развитии. Но когда Юрик встретил ее после двухмесячного

пребывания на Алтае словами “Таисия волосатая к Юрику пришла, конфету принесла” – она на время отстала от Норы с настойчивыми рекомендациями посетить психоневролога, дефектолога или детского психолога...

Нора почувствовала, что Юриково младенчество ею отработано. Она по-прежнему рисовала его, но теперь на тех же листах ватмана она записывала его высказывания. Записывать надо было немедленно: порой они были так странны и невразумительны, что Норе надо было еще расшифровать, что он имеет в виду.

Мыл руки в ванной, крутил краны – то холодную воду пускал, то горячую. Нора терпеливо ждала.

– Нора, а почему у холодной воды голос мужской, а у горячей женский?

Нора задумалась: она не слышала этой разницы. Так и сказала. Тогда он махнул разочарованно рукой:

– Ну тогда скажи, где у воды середина...

Нора чувствовала, что это она отстает от сына по части феерического всасывания мира и разворачивания в нем.

– Во всех вещах есть немного огня, – заявлял мальчик, играя с веревкой.

– Не понимаю, что ты имеешь в виду, – склонилась над ним Нора.

Он зажал веревку в одной руке, а второй сильно дернул.

– Вот видишь, в веревку положили немного огня и она жжется...

Он разжал руку, на ладонке был розовый след.

– Мам, а у веревки кругом лицо?

Годам к пяти у Юрика появилось новое увлечение. Норин приятель, актер-кукольник Сережа Николаев, подарил ему настоящий африканский барабан “джембе” и выбил простенький ритм – старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал... Незатейливая эта игрушка на несколько месяцев стала самой любимой. Часами Юрик лупил по барабану – то руками, то ложкой, то палочками, то костяшками пальцев – и при этом неистово скакал вокруг него. Нора изнемогала от постоянного треска, старалась отвлечь, переключить внимание на какое-нибудь менее шумное занятие. Пожаловалась как-то Сереже, что он испортил ей жизнь. Сережа отмахнулся, но принял к сведению – следующий его подарок, детский ксилофон, действительно несколько исправил положение: теперь Юрик занялся новым музыкальным инструментом и, надо сказать, ксилофонный звон меньше раздражал, чем треск “джембе”.

“Надо было взять бабушкино пианино, – подумала Нора. – Может, он музыкальный? Жаль, оставила пианино соседкам...” Сама она прекрасно помнила, как бабушка пыталась с ней заниматься и какая это была для нее пытка. Впрочем, и для бабушки тоже... В ту сторону ее совершенно не тянуло. Может, слух был недостаточно чуткий? У Генриха слух был замечательный, и Нора помнила, как в давние годы он пел в любом застолье, после первой же рюмки, длинные оперные арии... Амалия вечно мурлыкала какие-то советские песни. Дед Норы по матери был регентом, значит, тоже с отличным слухом. Может, Юрик пошел в Генриха или в того прадеда...

“Подрастет, отдам в музыкальную школу”, – решила Нора.

Потом он научился читать. Самостоятельно. Нора обнаружила это случайно. Он долго не засыпал, просил читать. Шел двенадцатый час, уже и Нора устала. Закрывает книжку:

– Все. Спи.

Он обиделся:

– Тогда я сам себе читать буду.

Нора старалась ему ни в чем не перечить. Согласилась:

– Хорошо. Только тогда вслух читай. Я тебе читала, теперь ты мне.

И он неожиданно стал читать – не очень уверенно, с остановками, но не по складам. Это была сказка о молодильных яблоках, и он не мог знать ее наизусть, первый раз читали. Нора промолчала, не стала спрашивать, когда это он научился. Только подумала – все, еще один детский возраст закончился, еще какую-то черту перешли. Витасикова голова. Наверное, математиком будет. Или физиком.

И ничего в этом хорошего не находила...

Юрик постоянно изумлял Нору. Севши на корточки, долго рассматривал молодую траву.

– Что ты там увидел? – интересовалась Нора. Не отрывая глаз от травы, он спросил:

– Нора! А я расту вверх головой или вниз ногами?

Потом вдруг обнимал дерево, прижимался ухом к стволу, гладил кору, сжав кулачки, тихонько стучал, снова прислушивался. Когда Нора спросила, что он там услышал, он мотал головой:

– Ничего не слышал. Думаю, почему у людей нет таких красивых фигур, как у деревьев? Не поняла? Это потому что они стоят красиво, а люди все бегают, бегают...

И он становился рядом с деревом, раскидывал ручки и замирал. Малыш в красной курточке с карманом на пузе...

Тенгиз надолго не пропадал – теперь он вызывал Нору на совместную работу то в Прибалтику, то в Сибирь. Страна была большая – от Бреста до Владивостока. Их стали приглашать вдвоем. Эта пара обеспечивала успех, иногда скандальный. Получали попеременно то награды, то выговоры. Тенгизу предложили театр в Кутаиси. Он подумал и отказался. Более всего из-за Норы. Положение главного режиссера не давало возможности так вольно разъезжать по стране, а Нору пригласить в Грузию он не мог. Да она бы и не поехала. В доме у Норы он изредка бывал, но старался там не ночевать, уходил в гостиницу. Мальчик выбрал его в отцы... всякий раз так вцеплялся в него, что создавать иллюзию семьи было жестоко. Да и самому Тенгизу все труднее...

Ближе к шести годам Юрик стал интересоваться, где папа. Нора заранее готовилась к этому вопросу. Витася, видевший Юрика только однажды, в годовалом возрасте, полностью выветрился из детской памяти, он заезжал к Норе раза три, но всякий раз, когда малыш спал. Витя успел привыкнуть к мысли, что Нора его обманула, родивши несогласованного ребенка, и смирился с тем, что ребенок этот уже есть. Поэтому, когда Нора позвонила и спросила у него, хочет ли он повидать сына, он ответил вялым согласием. Точку зрения своей матери он не рассматривал. Договорились, что на этот раз Нора с Юриком приедут к нему в гости.

И Нора опять, улыбаясь про себя, купила торт “Прага” и отправилась в гости к родственникам. За эти годы Витя с матерью были переселены с Никитского бульвара на станцию “Молодежная”, и это географическое перемещение поставило дополнительную точку в длинном многоточии их прерывистых и надуманных отношений.

Визит был недолгим. Варвара, раздираемая противоречивыми чувствами – ненавистью к Норе и любопытством, – ушла к соседке. Витя расставил фигуры на шахматной доске и показал Юрику, как они ходят.

– Это игра в войну? – поинтересовался Юрик. Витя подумал и согласился.

– Зачем столько пешек, они же одинаковые? – задал вопрос Юрик.

– Ну, они как пехота, чтобы защищать короля и королеву и нападать.

Витя сделал первый ход:

– Начало называется дебют.

– А можно по-другому? – поинтересовался Юрик.

Через пятнадцать минут Юрик втянулся и сказал, что он хотел бы начать по-другому. Но Витя отказался, сказал, что бросать партию будет нечестно... И быстро выиграл. Начали новую партию. В разгар третьей партии между сыном и полупризнанным внуком Варвара все-таки вернулась. Любопытство одолело. Вела она себя на этот раз даже глупее обыкновенного, потому что сделала вид, что не знала о намеченном приходе Нору с сыном. Она разыграла неожиданную встречу, но простодушный и негнувшийся в своей честности Витя немедленно ее разоблачил своим голубоглазым удивлением:

– Мам, да ты что? Я же тебе говорил!

Она только махнула рукой:

– Ой, Витя, ничего у тебя не разберешь!

Юрик проигрывал третью партию подряд и готов был уже зареветь, когда Витя ему сказал:

– Дружок, ты очень хорошо играешь! Я в твоём возрасте играл похуже! Сейчас я покажу тебе одну вещь, и никто больше тебя не обыграет.

Витя заново расставил фигуры, чтобы показать Юрику “вилку”. Юрик сразу понял, засмеялся и попросил показать еще какой-нибудь фокус. Вите мальчик понравился настолько, что он был не прочь с ним время от времени общаться.

– Прекрасно! Можешь приезжать к нам. Будешь с ним в шахматы играть. Только звони предварительно.

Пока ехали домой на метро, Нора все обдумывала, что же ей говорить, когда он снова спросит про отца. И ничего не сказала. Через недели полторы Юрик задал невзначай вопрос, который нес в себе и удовлетворительный ответ:

– Мама, а бывает двоюродный папа?

Кто из Нориных мужчин родной, кто двоюродный, не уточняли... Витя стал изредка захаживать. Он не особенно выделялся среди прочих многочисленных посетителей “перекрестка”. Юрика любили и баловали все Норины друзья – и те, кто находил его необыкновенно умным и занятным, и те, кого он настораживал странностью... К последним относилась Таисия, которая все настойчивей тянула Нору пройти с ребенком по психоневрологам и прочим специалистам. Однако начала медицинские обследования Нора только после того, как поняла, что Юрик различает цвета только по их интенсивности. Сначала она пошла к окулисту, который объявил ей после десятиминутного разглядывания таблиц, что у мальчика дальтонизм и, кажется, довольно редкой формы. Направили к невропатологу, а дальше Нора прошла с ним по всем специалистам детской поликлиники. В конце концов ей дали направление в Институт дефектологии, где Юрика осматривала целая бригада врачей. Нора присутствовала на этом консилиуме и поражалась неточности врачебных вопросов и точности Юриковых ответов. Для начала они выяснили, знает ли он элементарные геометрические фигуры – треугольник, круг, квадрат. Потом спросили, какой формы елочка.

– Круглая, – ответил он мгновенно.

Они снова предъявили фигуры и повторили вопрос.

– Круглая, – ответил мальчик. Далее последовало новое объяснение и повторный

вопрос.

– Да я же сверху смотрю! – раздраженно ответил Юрик, и Нора еле сдержала улыбку. Она-то знала о его способности смотреть на вещи со своей собственной позиции.

Врачи переглянулись и дали ему следующее задание. На листе бумаги, расчерченном на четыре части, была изображена голова лошади, собака, гусь и санки.

– Какая картинка здесь лишняя? – сладким голосом спросила пожилая дама в белом халате с лаковой плетенкой на голове.

– Лошадь, – твердо сказал Юрик.

– Почему? – хором спросили все врачи вместе.

– Потому что все целые, а от нее только кусок, одна голова.

– Нет, нет, неправильно, подумай еще, – попросила плетенка.

Юрик подумал, разглядывая картинку с большим вниманием:

– Гусь, – решительно ответил Юрик.

И снова они все удивились:

– Почему?

– Потому что лошадь и собаку можно впрячь в сани, а гуся нельзя.

Тетки в халатах снова переглянулись со значением и попросили мать выйти. Тут Нора догадалась, наконец, что правильный ответ был “сани” – единственный неодушевленный предмет в этом зверинце. Нора вышла.

В коридоре ей уже смешно не было, она злилась на себя – зачем она потащила своего умненького мальчика к этим идиотам. Они даже не поняли, насколько у него мозги лучше организованы, чем у них. Но диагноз был поставлен – задержка психического развития. Кроме бумажки с диагнозом Норе дали также направление в школу-интернат для детей с психическими отклонениями.

Никогда в жизни! В будущем году, когда ему исполнится семь, он пойдет в ту самую, в которой учились ее, Норины, родители, в бывшую сто десятую, в Мерзляковском переулке... Ее туда в свое время не взяли, потому что из-за нового районирования часть Никитского бульвара, примыкавшая к Знаменке, отходила к другой школе, о которой Нора и вспоминать не хотела. Но до школы оставался еще год, и Нора решительно потащила Юрика записывать в музыкальную. Ближайшая была возле консерватории, Центральная Музыкальная школа, одна из лучших в Москве, местечко рафинированное и снобское. Школа, выселенная на время ремонта, только что вернулась в свое родное здание. Все вокруг было казенно-зелено-коричневым и сильно пахло краской. Юрик потянул носом. Собеседование проводила полная пожилая дама с изумительным черепаховым гребнем на собранных в жидкий пучок волосах. Сначала дама предложила Юрику спеть, но он наотрез отказался, сделав даме встречное предложение – сыграть в шахматы. Дама подняла тень брови и отказалась от предложения. Она постучала пальцами по крышке пианино и попросила простучать то же самое. Юрик положил пальцы на крышку и выстучал нечто длинное, сложное, но совершенно не похожее на предлагаемый ритм. Он свой африканский барабан вспомнил... Дама оказалась излишне настойчива и, склонившись к нему, предложила повторить несложный ритмический рисунок. Но он опять пробарабанил что-то свое. Преподавательница открыла пианино и произвела до-ми-соль-ми-до. Стоявший рядом Юрик потянул носом и сказал:

– Здесь все очень плохо пахнет.

Возможно, если бы дама душилась не старомодными уже тогда духами “Красная

Москва”, а каким-нибудь “Серебристым ландышем” или “Кармен”, жизнь Юрика прошла бы по другому руслу...

Они шли к дому. Юрик всю дорогу молчал и что-то сосредоточенно обдумывал. Возле подъезда он остановился, потянул мать за руку и спросил:

– Нора, а почему я “я”?

Нора сглотнула воздух. Как ответить ему на вопрос, на который никто не знает ответа?

– Ну, дружок, ты же знаешь про себя, что ты человек отдельный, особый, что ты – “Я”.

А все остальные люди – другие, но у каждого есть такое же “Я”.

– А ты откуда знаешь, что я человек особый? – они топтались перед подъездом, он теребил Нору за руку. Нора была в замешательстве.

– Все особые. И я, и бабушка, и Таисия. А я думал, только я “особенный”.

– Ты правильно думал, – согласилась Нора, чувствуя полную беспомощность.

– И еще Витася особенный! – добавил Юрик, подумав.

Нора остолбенела: он прав! Они оба отличаются от остальных людей как гуингны от йеху...

Глава 13

Главный год (1911)

Девятьсот одиннадцатый год начался замечательно. Рождество Маруся провела с братом Михаилом, который приехал из Петербурга с подарками, одетый по-столичному, модно причесанный, с маленькой бородкой и заостренными усиками. Он всегда был красив, а теперь внешность его стала даже несколько вызывающей. Маруся испытывала двойственное чувство – с ним было весело пройтись по бульвару, встречные дамы на него поглядывали с интересом. Марусе было приятно, что на него смотрят, да и на нее заодно, но примешивалось и неудобство – пальто на ней было старое, какого-то давно вышедшего из моды фасона, да к тому же и велико, и ей было неловко от неуклюжести этого дрянного пальто, а еще более неприятно то, что она, развитая и образованная девушка, страдает по такому недостойному, низкому поводу!

Зато шляпка у меня чудо как хороша, – бодрилась Маруся, но тут же себя и останавливала: ну что за глупое мещанство! Ну, к лицу шляпка! Разве в этом дело? Важно ли это? Другое важно – теперь Миша с ней беседовал о предметах серьезных и значительных как с равной, а не как с бессмысленной барышней.

Мишины друзья наполняли дом каждый вечер, все восхищались Марусиной красотой, серыми глазами в черных, как будто накрашенных – никогда! никогда! что за пошлое кокетство! – ресницах, ручками редкого изящества, и грациозностью, и легкостью. Пальто-то было старое и невидное, зато платье ей пошили новое, из чудесной шерстяной ткани, купленной в мануфактуре Исаака Шварцмана, за экономные деньги, потому что отрез был неполномерный, разве только на девочку, но Марусе эта маленькая мера подходила – мама сопровождала Марусю, не забыв взять сантиметр, все промерила и сказала, что скроит. Долго мучилась, все боялась резать ценную материю, накальвала на Марусю и так, и эдак, но в конце концов получилось платье и нарядное, и скромное, и не без кокетства – с галстучком! Одного не хватало Марусе – собственного пышного бюста, чтобы натягивал лиф и немного выглядывал сверху. Но заботливая мама, носительница избыточных грудей, сдерживая улыбку, посадила лиф на сборочку, так что недостаток был замаскирован, а достоинство – узкая талия – подчеркнут.

Весь январь стал сплошным праздником – и день рождения Марусин отметили славно, ее поздравили все, даже Жаклина Осиповна! Первый раз в жизни Маруся пользовалась таким успехом, каждый вечер ее приглашали то в театр, то на вечеринку, и – венец всего! – Жаклина Осиповна пригласила пойти с ней вместе на концерт Рахманинова! Такого великого концерта Маруся в жизни не слышала и понимала, что будет вспоминать его до конца своих дней, потому что вряд ли когда еще выпадет такое счастье.

Еще одно событие – опять судьба решительно действовала через мадам Леру – произошло в середине февраля. На курсы, по приглашению Жаклины Осиповны, приехала с лекциями легендарная Элла Ивановна Рабенек. Выгученица Грюневальдской школы, основанной Айседорой Дункан, любимица великой босоножки, основательница одной из первых школ пластики в Москве, актриса, вышедшая на сцену без обу ви и без чулок, скандально-полуобнаженной, преподавательница пластики и ритмики в Художественном

театре Станиславского явилась перед слушательницами Фребелевских курсов в строгом, лишенном какой бы то ни было женственности костюме и в цветастом шелковом шарфе, более пригодном для обивки кресла, чем для украшения дамы. Слушательницы все замерли от ожидания. Маруся, которая к этому времени из помощника преподавателя сама стала преподавателем и уже не бегала к семи часам утра встречать приютских детей, а приходила к девяти часам и вела с ними незатейливые музыкальные занятия, на первой же лекции поняла, для чего она изучила всю эту историю и литературу, анатомию и ботанику, для чего слушала все полупонятные разговоры взрослых и умнейших, ходила в театры и в концерты – чтобы немедленно пойти учиться к изумительной госпоже Рабенек!

Лекция была вдохновляющей! Одни только имена каковы! Ницше, Айседора Дункан, Жак Далькроз... ритмы мира, ритмы тела... И все эти ритмы зашифрованы в музыке, которая сама по себе есть отражение пульса космического. О создании нового человека путем слушания и воспроизведения этих космических ритмов Маруся пока еще не успела узнать, но уже скоро... скоро... Конечно, это было именно то, о чем Маруся мечтала, – стать таким новым, свободным, мыслящим и чувствующим человеком, новой женщиной, и помогать другим идти по этому пути! О, предчувствие чудесной перемены!

Но событие самое главное, может быть, главнейшее в жизни, произошло в день, когда Элла Ивановна прочитала свою последнюю лекцию и провела под музыку демонстрацию. Она сменила свой мужественный костюм на белый короткий хитон. В движениях ее не было ничего балетного – свобода и энергия, естественность и смелость. Это мое! Это совершенно мое! – почувствовала Маруся всем своим телом. После лекции она летела домой как на крыльях, походка ее изменилась в один час: спина выпрямилась, плечи опустились, длинная шея как будто еще удлинилась, а ступни легко скользили по земле как по льду.

Мама уже спала, отец сидел в ночном колпаке возле керосиновой лампы, читал какую-то старую французскую книгу, и не с кем было поделиться радостью, новостью, даже некоторой пьяностью... Она легла в угловой комнате, бывшем чулане, думала, что не сможет заснуть, но заснула мгновенно. Встала рано, легко, сделала свой швейцарский туалет, добавив в холодную воду несколько капель одеколona “Брокар”, Мишин подарок, надела новые панталоны, а корсетик, подержав в руках, отбросила с тем, чтобы никогда больше не стягивать своего тела этой гадостью, старомодной гадостью, потому что ее тело со вчерашнего дня хотело быть свободным, не зажатым, не зашнурованным, а гибким, античным, греческим...

Надела старое ореховое платье, а противное пальто надевать не стала, натянула поношенную тужурку, надела круглую меховую шапку, повязала сверху платком, посмотрела на себя в зеркало, понравилась себе, подумала “Что за прелесть эта Маруся!”. И засмеялась, потому что прекрасно помнила, какая из любимых героинь Толстого это произносила, радуясь весне и молодости.

Был десятый час, когда она вышла из дому, – погода была солнечная, но довольно холодная, было ясно и чисто, к ней вернулось вчерашнее чувство легкости и свободы, и она улыбнулась вчерашнему дню. Но оказалось, что не вчерашнему дню она улыбается, а молодому человеку, который стоял возле витрины часовой мастерской. Он был кудряв, рыжевато-рус, в студенческой фуражке и в шинели, и лицо его, не совсем незнакомое, сияло такой же радостью, какой полна была Маруся.

– Мария! А я уже отчаялся вас встретить! Помните, мы были на концерте Рахманинова!
И хотя почти месяц прошел с того дня, Маруся вспомнила, сразу же вспомнила студента,

который уступил ей место в партере, а потом довел до дома. Он произвел тогда впечатление очень воспитанного молодого человека, и теперь он держался очень почтительно.

– Вы разрешите, я вас провожу? – спросил он, предлагая руку, чтобы она на нее оперлась. Рукав черной шинели был из тонкой дорогой материи.

– Куда? – Маруся и в самом деле сама не знала, куда она собралась идти! Занятий с детьми в тот день не было, а до лекции было еще два часа.

И они пошли гулять куда глаза глядят.

Улица Мариинско-Благовещенская, длинная и горбатая, то поднималась, то опускалась. Это было лучшее время жизни этой улицы: ей, как и всему городу, недолго предстояло украшаться причудливыми, фантастической архитектуры домами, потому что уже вызревала в подпольях революция, гражданская война, а в пространствах ближних, осязаемых, – неделя, две! – совершится убийство мальчика Андрюши “из личных видов” неизвестно кого, и уж точно лучше бы он жил, но он был убит, и дело Бейлиса вот-вот заволочет местный мир смрадным туманом, и убийство террористом, ужасным Богровым, который проживал тут неподалеку, на Бибиковском бульваре, министра Столыпина еще не произошло, но уже готовилось, и Лукьяновская тюрьма прирастала новыми корпусами, и все полны, и кто только к этому времени там не посидел – пока неизвестные Якову и Марусе сестры Ульяновы и брат их Дмитрий, и Дзержинский, и Луначарский, и Фанни Каплан, но они скоро-скоро, через небольшое колечко жизни узнают эти имена, и многие другие имена, и книги, и музыку будут проживать вместе, в четыре руки, в унисон, и всю новизну наук и искусств будут вдыхать вместе, усиливая все ощущения многократно.

Они шли по мирной Мариинско-Благовещенской улице и разговаривали первый раз. Чудесным образом разговор этот был почти безглагольным, состоял из одних перечислений имен и вздохов, выдохов и междометий... Толстой? Да! Крейцера соната? Нет, Анна Каренина! О, да! Достоевский? Конечно! “Бесы”! Нет, “Преступление и наказание”! Ибсен! Гамсун! Виктория! Голод! Ницше! Вчера! Далькроз? Кто? Не знаю! Рахманинов! Ах, Рахманинов! Бетховен! Конечно! Дебюсси? А Глиер? Великолепно! Чехов? Дымов? Короленко! Кто? И я! Но “Капитанская дочка”! Какое счастье! Боже! Невероятно! Никогда ничего подобного! Еврейское? Шолом Алейхем? Да, в соседнем доме! Нет, Блок, Блок! Надсон? Гиппиус! Никогда! Совсем, совсем не знаю! О, это надо, надо! История античности! Да, греки, греки!

Так дошли они до самого Ботанического сада, и тут Маруся опомнилась, что надо скорее возвращаться, что ей теперь нужно на Большую Житомирскую, потому что лекция уже скоро начнется и она опаздывает, а он засмеялся, сказал, что его положение лучше, потому что он уже даже не опаздывает, и что у него сегодня самый счастливый день, потому что то, что он загадал, все сошлось, и даже в тысячу раз лучше, чем он загадывал... И до вечера они не расставались, обошли весь город, выходили к Днепру, заглянули в Софийский Собор.

И снова это узнавание, совпадение в самых глубоких движениях души, в тайных и неуловимых мыслях! И где? В церкви! Кому это можно высказать? Тайна! Мария! Младенец! Да! Знаю! Молчите! Невозможно! Да, мой Николай! Николай! Я к нему иногда обращаюсь! О да! Нет, какое крещение! Нет! Зачем? Это связь! Ну, разумеется! Никогда! Авраам и Исаак! Ужасно! Но крест! Но знак! Но кровь! Да! И я! А фреска? Это любимое! Самое любимое! Музыканты! Да, а медведь! Конечно! Конечно! Охота изумительная! А эти музыканты! Скоморохи! Этот танец! Царь Давид?

Он был красив особенно, не на каждый глаз, он был красив для нее – ей нравился его

тяжеловатый подбородок с ямкой-расщелиной, и собранный рот, волевой, без всякой юношеской пухлости, и видно было, что он очень чисто выбрит, но если отпустит бороду, то будет она жесткой и густой, глаз ясный, яркий румянец, и даже в мундире видно, что он широкоплеч и узок в талии, никакой расплывчатости, полная мужская определенность.

Она более чем красива – одухотворена! Ажурный шерстяной платок чуть прикрывает впалые щеки, в лице ничего лишнего, черты, нарисованные чудным художником, скорее, графиком – Бердслеем, может быть. Немного недокрашенная, пастельная, легчайшая, сам воздух! Воздух – это ее стихия! Ничего мясного, тяжелого, ангелов из такого материала делают, да, ангелов...

Назавтра они встретились снова. Маруся рассказала ему о том, что скоро закончит Фребелевские курсы и уже знает, чему она будет учиться дальше, и рассказала все, что знала, о великой танцовщице, и ее ученице, и о ритме, который никто не слышит, а в этом и есть главное направление, потому что вне ритма нет никакой жизни, надо уловить эти ритмы, этому можно научиться, и неважно, какую ты выбрал себе стезю, но без этого пульса, без великого метронома ничего невозможно. И эти годы учебы оказались только подготовкой к тому, чем ей нужно заниматься... Именно, только этим!

Да, да, я очень это понимаю, я это понимал еще совсем ребенком, я болел ангиной, стоял с завязанным горлом у окна и считал падающие осенние листья, и знал, что от того, как они падают, как раз и зависит боль, которая отзывается на каждое касание листа к земле, и никому не мог этого сказать, и вы первый человек, который в состоянии... Не мама же... О да, не мама... Она совсем не... да, да... и никогда не поймут... Хотя их любовь, да... Но такое понимание... такое единение... А музыка? Музыка! Вот где метроном жизни! Пульс! Смысл!

Каждый день они ходили по городу, встречаясь каждую свободную минуту, держались за руки, и Яков был счастлив и немного подавлен избытком обрушившегося счастья, и Маруся была счастлива, но немного испугана тем, что все это может исчезнуть... об этом они тоже говорили... он уверял ее, что они это все удержат, сохранят, а она может на него положиться, верить ему, потому что у него есть все, все, что для жизни нужно, и не хватало только ее, а теперь, когда они нашли друг друга так просто, на соседних улицах... Правда, Рахманинов, конечно, Рахманинов!.. Надо быть просто преступником, чтобы не удержать золотую рыбку, жар-птицу, потому что все приобрело смысл, какого прежде не хватало. А теперь стало ясно, зачем нужна в мире музыка, и все науки, и все искусства, потому что без любви все полностью теряет смысл... Но теперь смысл ясный и общий, и педагогика не в отрыве от жизни, а вся она придумана именно для обучения людей счастью – и статистика, и политэкономия, и математика, а уж про музыку и говорить нечего, все это нужно только для одного, для полного счастья...

За несколько недель, вышагивая мили по городу, в котором оба родились, вдоль красавицы реки, в которой купались с малых лет, – не правда ли, Маруся, “река” должна быть мужского рода, как в немецком, *der Fluss*, ну, как слово “поток”... Ну, Днепр, это мужской род, не правда ли? Он ведь не Волга... Скакали по горкам и низинам древнего города, показывая друг другу любимые места, сблизились до такой степени, что, казалось, уже не может быть большего постижения и погружения в глубины другой души, и это было такое предисловие к счастливейшей будущей жизни, что даже поцеловаться было страшно, чтобы не спугнуть то еще большее счастье, которое их ожидало. Яков, тем не менее, вечерами, растягиваясь на своей узкой кровати, обнимал подушку и давал себе слово,

что завтра он непременно поцелует Марусю. Но назавтра отступал, боясь спугнуть ее доверие, обидеть ее примесью низменного в их возвышенных отношениях. А Маруся ждала и готовилась к этому новому шагу в их отношениях, но нисколько не торопила события.

Одиннадцатый год был только в самом начале, уже закончился февраль, счастье не убывало, а давало новые победы, обрастало новыми лепестками, – скорость и яркость, с которой бежал этот год, счастливейший одиннадцатый год, была невообразимая. В начале марта Жаклина Осиповна сказала, что списалась с Эллой Ивановной Рабенек, и та пригласила Марусю приехать для просмотра в Москву, в классы пластики. Маруся, проглотив комок в горле, – всю жизнь этот комок появлялся в минуты больших волнений, от повышенной функции щитовидной железы, как потом, много лет спустя, объяснят врачи, – сказала, что поедет непременно, во что бы то ни стало.

Дальше все складывалось как в сказке, потому что приехал брат Марк из Петербурга навестить родителей. Михаил приезжал чаще, и приезды его не были столь волнующими. Марк пробыл дома всего четыре дня, и Маруся от одного его присутствия вдруг заметила, как все поменялось с тех пор, как он покинул дом. Вся квартира как будто съежилась и, что самое удивительное, родители как-то уменьшились. Они вообще были некрупные, но Марк, большой и полный, стоя рядом с отцом, почтительно пригибал шею, а отец задира л вверх свою красивую голову, и Маруся чуть не заплакала, увидев вдруг, как сильно постарели родители за последние пять лет. От Марка веяло успехом и процветанием, он сообщил, что переезжает в Москву, где получил новую должность, и теперь будет работать в страховом обществе юристом, это новое и очень интересное дело, и ему положили большое жалованье. Он уже нанял в Москве меблированную квартиру. И – между прочим – в квартире этой две комнаты, так что Маруся сможет у него остановиться, когда ей захочется приехать в Москву. Она, вспыхнув, сказала, что уже хочет! И не было ничего такого вроде “скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается” – все просто понеслось, и назавтра он принес железнодорожные билеты. Они лежали перед Марусей на столе – две продолговатые картонки и два бело-зеленых листка, плацкарты на спальное место.

Вечером того же дня Маруся встретила с Яковом и, сияя лицом, сообщила, что едет в Москву на просмотр к самой Рабенек. Но Яков не обрадовался, взял ее руку, подержал, сжал крепко – не больно, но с каким-то смыслом:

– Вы уедете в Москву? Мы расстанемся?

– Нет, нет, это только на несколько дней... – и поняла, что говорит неправду. Если Элла Ивановна возьмет ее, если найдутся деньги на учение, она останется в Москве. И в голову Марусе не пришло раньше, что отъезд означает, что она Якова не будет видеть долго-долго...

– Я буду ждать вашего возвращения, если вы пожелаете когда-нибудь вернуться, – сказал он с несколько театральным выражением, сам почувствовал эту театральность и скривился от собственной фальши.

– Нет, нет, не говорите так! После всего, что нас связывает (чего “всего”, она не сказала, потому что связывали их душевные разговоры и глубокая тяга, которая обоим казалась постыдной), мы никогда уже не сможем расстаться...

Они сидели в Царском саду. Маруся заторопилась, ей надо было собрать саквояж и забежать попрощаться к мадам Леру, а Яков боролся, потому что все не решался совершить задуманное – поцеловать Марусю. Он сказал себе “сейчас или никогда”, повернулся к ней, приблизил свое лицо к ее... и поцеловал в щеку. Это было совсем не то, о чем он мечтал столько недель. Она засмеялась и сказала:

[Купить полную версию книги](#)